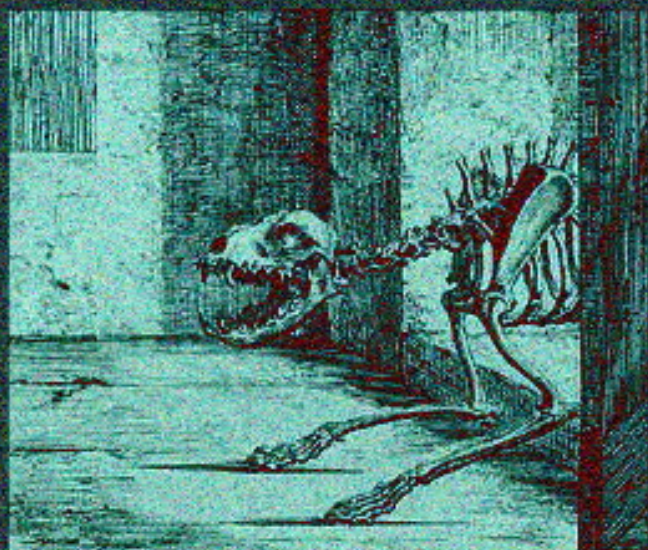


[Polaris]

# ЯРЧУК



## СОБАКА ДУХОВИДЕЦ

Книга о ярчуках

**POLARIS**



**ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА**

**ССХХХVII**



**Salamandra P.V.V.**

# **ЯРЧУК СОБАКА -ДУХОВИДЕЦ**

**Книга о ярчуках**

**Salamandra P.V.V.**

Ярчук собака-духовидец: Книга о ярчуках. Сост. и коммент. В. Барсукова и М. Фоменко. — Б.м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 218 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. ССXXXVII).

В книге собраны произведения о ярчуках — загадочных собаках, способных, по народным поверьям, видеть ведьм и демонов. Наряду с повестью «кавалерист-девицы» Н. Дуровой «Ярчук собака-духовидец», читатель найдет здесь и гораздо менее известные сочинения, а в первой части антологии — свод этнографических свидетельств, раскрывающих соответствующие верования.







Я р ч у к, мр. У Даля «первые щенки, особенно от суки первого же помету»; шестипалые собаки с долгим висячим когтем; «ярчука ведьма боится». Афан. П. В. I, 734. Это — собака духовидец, собственно рожденный «місяця Я р ц я», т. е. в Мае, когда и «мавській великдень» (см. выше Р у с а л к и). Это производство подтверждается следующим: «м а р ч у к, которого боится и волк, и нечистая сила» (Мачтет, Бел. панна, Киев. Ст. 1889, II, 347, из Подольской губ.), т. е. пес рожденный «в Марцю» (= в Марте), тоже вероятно в какие-либо задушные дни.

«Quidam tradunt, si unus (щенок) gignatur, nono die cernere, si gemini, decumo itemque in singulos adici totidem tarditatis ad lucem dies, et ab ea quae sit femina ex primipara genita Faunos cerni. Optimus in fetu qui novissimus cernere incipit aut quem primum fert in cubile feta», Plin. Hist. Nat. VIII, 62.

[Некоторые говорят, будто, если родился один щенок, он начинает видеть на девятый день, если двойня — на десятый и так далее: с прибавлением каждого следующего щенка день их прозрения соответственно отодвигается, и что будто бы сука, рожденная в первом помете, прозревает быстрее. Лучшим щенком помета является тот, который начинает видеть последним, или же тот, кого мать первым отнесет в конуру. Плиний, «Естественная история», VIII, 62].

А. А. Потебня. *Этимологические заметки. Живая старина* (СПб.), 1891. Вып. III.



Индоевропейские народы приписывали собакам духовидство; они чуют приближение богов и демонов, незримых очам смертного<sup>1</sup>. Таким чудесным свойством обладают по русским поверьям: а) *двоглазка* — черн шерстная собака, имеющая над глазами два белые пятна, которыми и усматривает она всякую нечистую силу<sup>2</sup>, и б) *я р ч у к* — собака, у которой будто бы во рту волчий зуб, а под шкурою скрыты две змеи — гадюки (Харьк. губ.); она чует черта и наносит ведьмам неисцелимые раны<sup>3</sup>. Эти подробности свидетельствуют, что народ еще смутно помнит о тех баснословных, одаренных и особенно зорким зрением и особенно страшными зубами псах, которые преследуют в дикой охоте вещей облачных жен; очи, видящие демонов, и зубы, терзающие ведьм, суть метафоры сверкающих молний.

*А. Н. Афана́сьев. Поэ́тические воззре́ния славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Т. I. М., 1865.*



---

<sup>1</sup> D. Myth., 632.

<sup>2</sup> О 3. 1848, V, ст. Харитонов, 24.

<sup>3</sup> М. В. Д. 1848, XXII. В некоторых местах уверяют, что собака первого помета от перворожденной суки может видеть духов.



Ночь вызывала в младенческом воображении представление о смерти и загробном мире. Лунное божество часто становится в мифологии божеством смерти, а звезды, окружающие его толпами, представляются душами усопших людей. Поэтому и лунный пес получает загробный характер и становится стражем мира усопших, как греческий Кербер или эранские собаки, охраняющие мост Чинват. К этой роли собаки повели некоторые наблюдения над ее привычками: ее вой по ночам наводил людей на мысли о смерти и считался предсказанием близкой кончины хозяина, или кого-нибудь из членов семьи. В том же смысле объяснялась и привычка собак рыть ямы. В мифологии разных народов собака является вестницей смерти. Германские норны, соответствующие греческим паркам, сопровождались собаками<sup>1</sup>; у Греков собака была животным страшной Гекаты и приносилась ей в жертву<sup>2</sup>; на древних саркофагах собака изображалась как вестница смерти<sup>3</sup>, Египетская лунная богиня Бубастис, родственная Изиде, была сопровождаема собаками<sup>4</sup>, а бог Тхот (Техути), соответствующий греческому Гермесу, в роли проводника душ в царство теней, изображался с головой кинокефала<sup>5</sup>. Представление об адском псе, известное из мифологии греческой и эранской, встречается и у других народов. Гуроны (в Америке) думают, что через реку смерти перекинут ствол дерева, по которому должны переходить мертвые; собака, охраняющая этот ствол, бросается на души и некоторые из них падают в воду<sup>6</sup>. Точно так же по мнению многих народов собаки имеют способность видеть духов, невидимых людям, и обнаруживают это воем.

В скандинавской мифологии богиня смерти Гела (Hel),

---

<sup>1</sup> Wolf. Beiträge zur Deutschen Mythologie, II, 195 и Grimm. D. Myth. 381.

<sup>2</sup> Creuzer. Symbolik. II, 256 след.

<sup>3</sup> Bachofen. Gräbersymbolik. P. 113.

<sup>4</sup> Creuzer. Symbolik. II, 570.

<sup>5</sup> Hermes Trismegistos, nach aegyptischen und orientalischen Ueberlieferungen, dargestellt von Dr. R. Pietschmann, 1875.

<sup>6</sup> См. Тэйлор, Первобытная культура, II, 163 русс. перевода.

обходящая землю, высматривая себе жертву, видима для собак<sup>1</sup>. Римляне думали, что собаки женского пола первого помета способны видеть фавнов ночью и прогонять их лаем<sup>2</sup>. В некоторых местностях России подобные собаки также слынут духовидцами<sup>3</sup>. В Одиссее (XVI, ст. 160-163) говорится, что Телемак не видел Афины, которая стояла подле него, но ее видели собаки:

Не всем нам боги открыто являются, но Одиссей мог очами  
Ясно увидеть се и собаки увидели также:  
Лаять не смея они, завизжав, со двора побежали.

Евреи и мусульмане, говорит Тэйлор, услышав вой собак, знают, что они увидели ангела смерти, вышедшего на свое страшное дело<sup>4</sup>. В России это свойство приписывается обыкновенно двум породам собак: я р ч у к у, у которой рту волчий зуб, а под шкурой скрыты две змеи-гадюки, — она чует черта и наносит ведьмам неисцелимые раны; вторых, д в о е г л а з к е — черношерстной собаке, имеющей над глазами два белые пятна, которыми и усматривает она всякую нечистую силу<sup>5</sup>. Любопытно то, что это простонародное русское верование в свойства двоеглазки восходит к незапамятной старине и составляет общее достояние индоевропейских народов. Полную аналогию русской двоеглазке находим мы в четырехглазых псах, упоминаемых в Риг-Веде и Зенда-весте. Индусский бог смерти Яма имеет двух четырехглазых псов, которых он посылает на землю за душами людей.

*В. Ф. Миллер. Значение собаки в мифологических верованиях. М., 1876.*

---

<sup>1</sup> Grimm. Deutsche Mythol. p. 632.

<sup>2</sup> Hartung. Religion der Römer, II, 181.

<sup>3</sup> Афанасьев, Поэтич. воззрения, I, 734.

<sup>4</sup> Тэйлор, Первобытная культура, II, 234.

<sup>5</sup> Афанасьев, Поэтич. воззрения, I. с.

Коли хочеш завести ярчуків, то треба сучку, як оценившись, вбити і цуценят всіх перебити, оставить одну тіки сучечку, та так аж до дев'яти поколіній, а тоді вже дев'ята сучечка і наведе ярчуків. От відьма й буде приходить їх викрадатъ, так треба сховати в такий погріб, щоб в один день був викопан, і накрить бороною осиковою, щоб тож була в той день зроблена, і набить в борону дев'ять зубків, та дев'ятий і залить воском. От вона як прийде, та зараз зачне зубья лічити: один, два.... сім, вісім, а дев'ятого не скаже, бо воском залитий, та уп'ять — один, два... та так аж поки півні заспівають. І так треба їх ховати, аж поки загавкають, а тоді вже, яв вона почує їх глас, буде чор зна куди обминати той двір.

(Ср. Чуб. I, 53).

[Если хочешь завести ярчуков, то нужно сучку, как оценившись, убить и щенят всех перебить, оставить одну только сучечку, и так аж до девяти поколений, а тогда уже девятая сучечка и принесет ярчуков. Вот ведьма и будет приходить их красть, так нужно спрятать в такой погреб, чтобы в один день был выкопан, и накрыть осиновою бороной, чтоб тоже была в тот день сделана, и набить в борону девять зубцов, а девятый и залить воском. Вот она как придет, и сразу начнет зубья считать: один, два... семь, восемь, а девятого не скажет, потому что воском залит, и опять — один, два... и так аж пока петухи не запоют. И так нужно их прятать, пока не начнут лаять, а тогда уже, как она услышит их голос, будет черт знает где обходить тот двор.]\*

*М. П. Драгоманов. Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876.*

---

\* Здесь и далее перев. составителей.

## Шалабайка

С первого помета никогда щенки не вырастут. Говорю вам, господин, ведьма, подлая бестия, всегда их изничтожит.

У малой Цыганки были по весне пятеро щенков в первом помете; хотел утопить, чтобы не кормить зазря, но о. Метелицкий: «Оставь, говорит, Савицкий, не верь глупостям...» (наш господин Северин, когда в добром духе, говорит «Кароль», а когда в дурном, «Савицкий!..»), я и оставил.

Щенки уже подросли, вдруг слышу ночью лай собак во дворе, а сука Цыганка аж скулит и бросается; подумал, что зверь подошел. Я вышел в дверь: ша!.. ша!.. что-то мелькнуло перед глазами, как пробежало в потемках... а потом собаки и притихли...

Вышел я утром, смотрю, у одного щенка все четыре ноги сломаны, у другого крестец перебит и стонет, еле живой. Я сразу понял, что это значит... Не иначе как старая шельма, Шалабайка, это сделала... Сколько я ни сторожил потом, она не пришла. Трое, что еще остались, и те жить не будут: не побьет, так потравит, а всяко смерть им причинит.

В девятом поколении щенки, выращенные из первого помета, всюду ведьму почуют и найдут: нигде она от них не спрячется. Идешь с такой собакой по улицей, и хоть бы она в хате сидела, сейчас же скакнет под окно и рычит... Можешь идти в хату и смело бить бабу — ведьма она. Такая собака зовется «ярчук», я выращивал себе такую до восьмого помета, но шельмы дождались-таки случая и потравили.

*A. Podbereski: Materyjały do Demonologii ludu ukraińskiego. Z opowiadań ludowych w powiecie Czehryńskim // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. T. IV. Kraków, 1880.*

Відьма не ходить туди, де єсть домовник; він її зараз укладе. Ще вона боїтця собак-ярчуків; тим-то як народяться ярчуки цуценята, так вона їх знайде да й позадавлює волосом. Хиба накриєшь осиковою бороною, або осиковими трісками, то будуть живі, бо вона того дерева боїтця.

[Ведьма не ходит туда, где есть домовой: он ее сразу уложит. Еще она боится собак-ярчуков; потому-то, как рождаются ярчуки щенки, так она их найдет и задушит волосами. Если накроешь осиновой бороной или осиновой щепой, то останутся живы, потому что она этого дерева страшится.]

*Записки о Южной Руси. Издал П. Кулиш. Том II. СПб., 1857.*



<...> Другие говорят, что для защиты двора от ведьмы следует держать особых собак, так называемых *ярчуков*. Этих собак достать трудно; нужно поступить так: когда в первый раз ощенится сука и первого щенка выведет тоже суку, то его нужно беречь, пока от него появятся щенки, и если первый щенок тоже будет сука, то и ее беречь, пока ощенится. Тогда первый щенок от этого третьего поколения суки, будет ли он кобель или сука, и есть *ярчук*. Когда ярчук вырастет, то он может кусать ведьм, чего обыкновенные собаки не смеют делать; многие из них даже не лают на ведьм. Ярчук не только лает, но может даже и загрызть ведьму, почему последняя старается задушить его, пока он еще мал. Поэтому-то ярчука следует тщательно оберегать от ведьмы, чтобы она не убила его, пока он щенок. В хате не спрячешь, так как ведьмы являются для этого и в хату, а нужно выкопать во дворе яму, посадить туда щенка и накрыть яму бороною, тогда уж ни одна ведьма не посмеет его тронуть, потому что она боится бороны. Вот поэтому-то, чтобы подстеречь и изловить ведьму, ходящую доить корову, садятся за бороною, вооружившись *прытыкою* \*, и тогда уже ведьма ничего не может «поробыты тому чоловикови» (сл. Араповка).

<...> Верующие в существование ведьм крестьяне прибегают к разным исстари известным средствам для охраны коров от ведьм, при недействительности этих средств обращаются к местным знахарям и держат у себя во дворе, между прочим, собаку-ярчука.

— Пойхав я раз в Лыман Узюмского вѣйзду до своего брата в гости. Прийхав, посыдили трохе, погомонили, а дали брат и каже: «От, брате, мини горе: як тоби звисно, у мене ё собака ярчук, така собака, шо й видьми їи боятця, и вовкы: у неи вовчи зубы. Так от, як ця сучка ошениця, то видьма визьме вночи та й подаве цуцынят. Шо мини й робыты — я й сам не знаю». «А ось шо, — я кажу ему, — як будуть цуцынята, то ты скажы мини, так я їи зараз изведу».

---

\* Здесь: кол (Здесь и далее прим. сост.).

«Та ни», — каже брат. — «Вирно, — кажу, — шо звезду». Тико це мы перебалакалы, аж ось входе ёго жинка знадвору та й каже: «А наша ярчучка, чоловиче, оценылась». — «Ага, — кажу я, — тепер я покажу, як з нею управлятьця». Дождялы мы вечера, узав я голый *быч* з цыпа, пишов до клуни, сив у таке мисце, шоб ии можно було ударяты навидли (наотмашь), як вона выйде з клуни. Ось чую, крычать цуценята. Ну, думаю, ось я ж тоби дам, проклята видьма, цуцынят! Тико я це передумав, дывлюсь — иде з клуни здоровующа *била собака*. Я як двыну ии со всёго маху навидли бычем по морди, так вона и перекинулась. Тоди взяли мы з братом цю собаку, отволочылы в садок и бросылы, а коло неи положиылы быч. Уранци пишлы мы подывытысь на неи — вона як щезла: ныма. Колы чуем — у сусида вмерла баба: ни горила, ни болила, звечера була здорова, а вранци бачуть — лежит мертва.

[Поехал я раз в Лиман Узюмского уезда к своему брату в гости. Приехал, посидели чуток, побалакали, а дальше брат и говорит: «Вот, брат, горе у меня: как ты знаешь, есть у меня собака ярчук, такая собака, что и ведьмы ее боятся, и волки: у ней волчьи зубы. Так вот, когда эта сучка оценился, то ведьма возьмет и ночью задавит щенят. Что мне делать — я и сам не знаю». «А вот что, — говорю я ему, — как будут щенята, то ты мне скажи, так я ее сразу и изведу». «Да нет», — говорит брат. — «Точно, — говорю, — что изведу». Только это мы поговорили, как входит тут со двора его жена и говорит: «А наша ярчучка, муж, оценилась». — «Ага, — говорю я, — теперь я покажу, как с ней управляться». Дождались мы вечера, взял я голый *бич* с цепы\*, пошел к клуне, сел в такое место, чтоб ее можно было ударить наотмашь, когда она выйдет из клуни. Вот слышу, кричат щенята. Ну, думаю, вот я тебе покажу щенят, проклятая ведьма! Только я это подумал, гляжу — идет из клуни здоровенная *белая собака*. Я как двинул ей со всего маху наотмашь

---

\* Бич — здесь: короткая рабочая часть цепи, соединенная ремнем с ручкой.



бичом по морде, так она и с ног свалилась. Тогда взяли мы с братом эту собаку, отволокли в сад и бросили, а рядом с ней положили бич. Утром пошли мы посмотреть на нее — она как исчезла: нету. Потом слышим — у соседа померла баба: ни хворали, ни болела, вечером была здорова, а с утра видят — лежит мертвая.]

(Этот крестьянин, по словам учителя П. Марусова, вполне убежден и всех уверяет, что он действительно убил ведьму) (Сл. Кабанья).

— Попрохала я, — говорила старуха, — у одной барыни цуцыня, та й сама не знала, шо воно *ярчук*, и колы б воно выросло, то було б таке зле, шоб и близько к двору нашому не допускало видьму. Гостювала я в дочки дви ныдили, потим пришла додому и пытаю у сына: «Чы ты кормыв цуцыня?» А вин одвигае: «Ни, ще сегодняя, мамо, не кормыв». Колы я узнала, аж моя собака уже другый день голодуе. Прыныволюла я сына питы выпустыты из конюшни цуцыня и даты ему исты. Тике шо вин отворыв двери конюшни, як из неи выхватытця така сылна *буря*, шо так и збыла с ниг сына и откынула его далыченько вид конюшни. Сын мий здорово злякався, вбиг скоренько в хату та й говоре: «Маменько, а маменько, бачылы, як мене турнула буря?» Я скорыш пийшла туды и бросылась дывитьця на цуценя, и шо ж? Лыжыть бидна моя собачка, потрощына на дрибны кускы. Тоди я и увирылась, шо буря — це була видьма. Цей случай я розказувала многим людям, котори мини говорылы, шо видьма здорово не любе отого ярчука, так шо вона всякымы мирамы стараетця его стрыбыты. Для того, шоб видьма не стрыбыла его, треба его держаты в погриби пид осыковою бороною» (Сл. Гусинка).

[Попросила я, — говорила старуха, — у одной барыни щенка, да и сама не знала, что он *ярчук*, и если б он вырос, то был бы таким злым, что и близко к двору нашему не подпустил ведьму. Гостила я у дочки две недели, потом пришла домой и спрашиваю у сына: «Кормил ли ты щен-

ка?» А он отвечает: «Нет, сегодня еще, мама, не кормил». Так я узнала, что моя собака уже второй день голодает. Заставила я сына пойти и выпустить из конюшни щенка и дать ему поест. Только открыл он двери конюшни, как из нее вырвалась такая сильная *буря*, что так и сбила с ног сына и отбросила его далеко от конюшни. Сын мой сильно испугался, вбежал быстренько в хату да и говорит: «Маменька, а маменька, видели, как меня швырнула буря?» Я скорее пошла туда и бросилась смотреть, где щенок, и что ж? Лежит бедная моя собачка, разорванная на мелкие кусочки. Тогда я и уверилась, что буря — это была ведьма. Про этот случай я рассказывала многим людям, которые мне говорили, что ведьма здорово не любит того ярчука, так что она всякими способами старается его истребить. Для того, чтоб ведьма не истребила его, нужно его держать в погребке под осиновой бороной.]

— Рассказывала мне мать моя, что когда она была маленькой девочкой, ведьма была у них раз во дворе. Была у нас, говорила мать, молодая собака первый раз со щенками. А ведьма боится первого щенка, который называется ярчуком, так как у него есть такой зуб, которым он может задавить и ведьму. Вот ведьма обратилась в козу и прибежала к нам во двор, вбежала в сарай, где была сука со щенками, схватила одного щенка и ну душить его. Сука бросилась на козу и начала отбивать своего щенка, а коза-ведьма бьет ее копытами. Мы слышали визг собаки, прибежали в сарай, а ведьма обратилась *клубком* да и покати-лась со двора. Когда наш ярчук вырос, ведьма снова прибежала к нам во двор, но уже в виде большой *собаки*; ярчук бросился на нее. Они схватились и начали грызть одна другую, и наша собака задавила ведьму. Поутру мы узнали, что в нашей слободе умерла старуха, которую все называли ведьмой (Сл. Сеньков).

*П. В. Иванов. Народные рассказы о ведьмах и упырях // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. 3. Харьков, 1891.*

## Ведьма ярчука боится\*

— Ну, пускай уже и нету ведьм, пусть просто так бабы ходят одна к другой коров доить, а все ж из-за них невозможно собаку ярчука [йирчука] содержать. Вот я очень хорошо знаю, что мой брат в хате ярчука держал, чтоб не задавила ведьма. Месяца три держал, и такой уже стал красивой, здоровой собачкой. Тогда уж куда его держать, когда ему месяца три, — выпустил, а она, проклятая, ему кости и поломала. Был бы маленький, так задавила бы, а так прямо кости в суставах поломала. А еще осенью, когда я домой ходила, так рассказывали на посиделках, что там к одному человеку пришла под поветь такая в тулупе и косы растрепаны, и зашла ярчука давить и задавила. А невестка углядела и узнала ту бабу и золовке: — Идем! — А она такая небоязливая. Побежали они огородами и прибежали раньше той бабы. Идет она в тулупе, растрепанная. Вошла в хату, а они в окно смотрят. А она тулуп скинула и давай косы подбирать под чепец. Так они дома рассказали и просят, чтоб никому не рассказывали, чтобы не рассердилась она, значит. Да разве Иван, парень ихний, утерпел? — Увидел ее и говорит: «А ты, старая сука, зачем мою собаку задавила?». Так она молчит.

С. Жеведь Черниговского у. М. Н. Гринченко 1900

*Б. Д. Гринченко. Из уст народа: Малорусские рассказы, сказки и пр. Чернигов, 1900.*

---

\* Приведено в переводе.

*Ярчук.* Первая сучечка, молоденькая, принесет сучечку, та снова принесет сучечку, вот то — *ярчуки* все. Только, говорят, нельзя вырастить ярчуков, потому что все Ведьма душист, и нужно целый год под бороной его держать — будку такую сделать и бороной загородить, и она не подойдет. Через год уже *ярчук* Ведьму не подпустит к корове, и она не заберет молоко. — Ярчук гавкает на Ведьму и на Черта. — Как станет он лаять, так уже можно поймать Ведьму. А чем поймать? — тем очкур<sup>\*</sup>, что мужик семь лет в штанах но-сит. А нужно сперва его освятить, и тогда уже подстеречь ее на Ивана-Купала и накинуть, и она уже не выберется из оч-кура — перекинется собакой и котом. А ты бей собаку и ко-та, а она только будет визжать! — А один мужик взял и ла-пу отрубил Собаке и узнал, кто Ведьма.

Ну, смотрит — а у соседки его рука обвязана, и спрашивает — «что там у вас такое»? —

— Это, говорит, палец оторвало<sup>\*\*</sup>.

*В. Кравченко. Звичаї в селі Забридді та по де-яких інших, недалекіх від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині: Етнографічні матеріали. Житомир, 1920.*

---

<sup>\*</sup> Пояс или шнур, которым стягивают штаны либо шаровары.

<sup>\*\*</sup> Текст приведен в переводе.

Доение чужих коров, как известно, одно из главнейших злодейств ведьмы. Мы видели, что ведьмы иноземных сказаний тоже этим по преимуществу занимаются. У нас на юге полагают, что для того, чтоб овладеть чужой коровой, ведьма ее доит либо на Благовещение (25-го марта), либо на Юрьев день (23-го апреля), либо в первый день Пасхи. Если ей это удастся — дело кончено: корова после того хозяевам уже не дает молока. Волшебный же способ доения, по воззрениям нашего народа, очень похож на описанный нами в иноземных сказаниях. Ведьма у себя дома пробуравливает где-нибудь в столбе, косяке или в стене дырочку и держит ее заткнутой; а когда ей надо молока, она вынимает из дырочки затычку, произносит заклинательное слово, и молоко струей течет из дырочки в подставленную посудину. Но туго приходится ведьме, если ее при первом доении застанет хозяин коровы, особенно если у него есть собака первак. Под таким названием известны те верные псы, кавалеры, появляющиеся на свет от первородящей суки, которая в свою очередь была первым потомком также первородившей матки. Перваков иначе называют ярчуками. Так вот эти-то псы и обладают способностью видеть ведьм, безошибочно чутьем различать их от обыкновенных баб. Ярчуков, если генеалогия их добросовестно прослежена, берегут пуще зеницы ока, хотя трудно бывает их уберечь. Черти в свою очередь отлично знают их талант в распознавании ведьм, и потому в собственных интересах жильцы адавы стараются удавить ярчука; а он вполне в их власти до годового возраста. Правда, зато потом, когда ярчуку уже минул год, с ним черти ничего не могут поделать, он вне их власти. Так вот, если такая собака застанет ведьму в то время, когда она явится во двор доить корову в первый раз, то непременно ее загрызет, если только ведьма не успеет оборотиться вовремя в птицу и улететь.

*М. А. Орлов. История сношений человека с дьяволом. М., 1904.*



**Р. Чмихало**

**ЯРЧУК**



Жил один охотник. Ходит с ружьем по полю и стреляет зайчика, лисичку, где что попадется. И не пропустит, догонит и убьет. Ходил он, ходил себе, а человек один работал в степи; и была у того человека плохонькая кобылка и пропала. И взял тот человек, шкуру снял и домой поехал. Стоит там старый стог, а возле этого стога шагов за 50 лошадь лежит, что человек тот ободрал. Пришел охотник, посмотрел на ту лошадь, полез на скирду, сделал себе гнездо посередине, зарядил пулями ружье и сидит и смотрит на ту лошадь. Вот придут ночью волки, думает, так я буду бить. — Сидит, не до сна ему. Долго ли, коротко, бегут два, сейчас к лошади и давай ее драть — рвут, едят. Стали есть, прибегают пять и стало их семь волков. Взял он и нацелил ружье в стаю — бить приготовился. Аж руки свело, шапка с головы падает, сам не свой, взял его страх большой. Слобода от того стога верстах в трех и ветерок на слободу дует. Как принялись волки рвать ту лошадь, а в слободе собаки как залаяли, галдят на всю слободу, а одна собака как гавкнет, так они от лошади отскакивают и смотрят; а потом опять за лошадь, а как гавкнет, они тут же подскочат. Съели волки ту лошадь, а охотник переночевал в стоге, на другой день встал и пошел в ту слободу, где собака лаяла. Вошел в слободу и смотрит по огородам, не выбежит ли собака с таким голосом. Прошел он одну сторону улицы, перешел на другую. Буря тут большая с дождем поднялась. Он доходит до того хозяина, у которого собака, а собака и залаяла, он и услышал и узнал сразу. Доходит до двора, видит на погребке соломы охалку, а возле погребка лежит на земле собака. Увидел он это и идет в тот двор и прямо в дом. Входит в дом, поздоровался. — Откуда, земляк? — Недалеко отсюда. — Что ж до меня-то забрел? — Говорили, есть у вас на продажу собака, так я спросить пришел, не продадите ли мне? — Есть, говорит, мне она не нужна, на что она мне сдалась? — А что просите за нее? — Что дадите. — А я дорого дам. — Может, так дадите, что на сапоги хватит? — Нет, я столько дам, что и на три пары, а то и больше хватит. — Сколько же? — Десять рублей дам. — Э, хорошо, пока не

помру, буду благодарить тебя за доброту, что ты меня так поддержал. — Он достал 10 рублей и отдал. — Как же мне, говорит, пса-то взять? — На тебе кусок хлеба и мани его: Катись, катись. Это его дети так приучили, он за тобой и покатится. — Охотник вышел, позвал, собака за ним и побежала. Приходит домой с собакой. А собака та была ярчук\*. Еще сам не поевши, накормил собаку, тогда и сам поел. Вышел на огород, двух работников нанял. — Копайте мне погреб этакий и этакий. — Они копать стали, а он взялся осиновую борону мастерить. Те погреб выкопали, а он борону сделал и зубьев набил, сколько надо. Тогда взял он ту собаку, кинул в погреб, а сверху бороной накрыл. И давай кормить ту собаку; хорошо кормил, говядиной, целый год кормил. Год выращивал, тогда уж достал. Как достал, то пес этот как медведь, самый старый из медведей, вот такая собака стала. И давай теперь брать на охоту с собой; тот ярчук ходит за ним. Идет раз, бежит волк; собака ему навстречу. Волк не убегает; как сошлись, схватились дыбом, грудь в грудь, тот того за шиворот, а этот этого. Ярчук, как схватил волка за шиворот, встряхнул, бросил об землю, так сразу и убил. И он так и медведей, и лисиц и любого, какого ни на есть зверя, побьет или догонит. И ходил так охотник недели две и взял рублей сундук денег за шкуры и купил он лошадь и ездит. Ярчук бьет зверя, а он шкуры снимает и в повозку складывает. Походил он год с тем ярчуком и богатый стал. Раз надумал, сел верхом, взял себе ружьишко и поехал, а ярчук его за ним побежал. Выехал в степь, проехал верст пять-шесть, тут волк бежит. Он увидел, сейчас с ярчуком за вол-

---

\* У ярчука в пасти как дегтем намазано, черно. Их потому нет, что как сука выплодит, ведьма узнает и сейчас ярчука и задавит. А есть такие люди, что могут узнать ярчука; тогда они его в погреб прячут и закрывают осиновой бороной зубьями кверху; тогда они и вырастают, потому как ведьма из-за той бороны в погреб не пойдет, ведь ежели пойдет, то там и останется, не выйдет. А суки из тысяч одна приносит, ярчука рождает первого и только самца. И как его вырастят, то в село то зверь уже не идет и ведьмы боятся.

ком погнался. Догнали волка, сейчас ярчук с волком дыбом схватились; ярчук поймал волка за шиворот, встряхнул, об землю бросил, из волка и дух вон. С ним справился, видит, бегут еще два по тому же следу. Подбегают; ярчук схватился с одним — убил; потом с другим и того убил. Разорвал его, тут бегут двенадцать друг за другом шагах в десяти. А эти три лежат задавленные. Охотник на коня и за теми волками: они не очень-то и убегают. Добежал, догнал ярчук заднего волка, убил; затем погоня опять, а те не оглядываются, бегут, а ярчук заднего догонит, убьет, а охотник на коне за ними. Вот лежат одиннадцать волков, один от другого шагах в 20 или в 10. Тех 11 убил, двенадцатого теперь догоняет, а тот себе шатается да знай убегают. Добегает он до леса. Стоит лес, волк в лес, за ним ярчук, а хозяин тоже туда. Пробегает по лесу версту, а там посреди леса площадь чистая десятины в три и на той поляне волков Бог знает сколько тысяч, тысяч 20, всю поляну заняли там как овцы, когда их загонят в стойло и они одна к другой теснятся — так эти волки густо стоят. А посреди поляны сидит на лошади архангел Михаил с трубой и играет в трубу и созывает волков; они как услышат, то сразу и бегут, потому что он ими заведует, как какой-нибудь генерал над солдатами, и от Бога назначен волками распоряжаться. Он им счет ведет, знает, сколько их, а как заиграет в трубу, они все прямо и сбежатся, он на них полюбуется, посмотрит, а потом и распустил: «Идите себе по местам», а сам в свою сторону, куда ему Бог указал, поедет, а волки, хоть наш язык не понимают, а что он говорит, понимают, и как он в трубу заиграет, то они понимают и сбегаются, где бы он ни остановился, посреди леса или посреди степи. Тот двенадцатый волк добежал до той поляны, а охотник с разгону как выскочит на поляну, испугался и хотел убежать. А тот в золоте, весь прямо сияет, и прикрикнул на него: Не беги, охотник, а иди ко мне. — Пошел он, волки расступились, подходит он и ярчук за ним. Дошел, поклонился, поздоровался. — Ну, говорит, охотник ты хороший, да не такой ты хороший, как ярчук у тебя добрый. Много медведей подавил, а волков еще больше. — А посреди площади стоит

волк, всем волкам волк, такой волк, что и смотреть на него страшно, здоровенный, как амбар. И говорит архангел Михаил волку: Иди, сразись с ярчуком. — Тот не хочет, мнетя. Тогда крикнул архангел Михаил: Тебе говорю, иди сразись. — Тогда подбегает волк к ярчуку и схватились они дыбом, тот того за шкуру, а этот этого. Как схватил ярчук того волка за загривок, встряхнул и бросил оземь и убил и дух из него вышиб. Тогда и говорит архангел Михаил: Этот ярчук — всем ярчукам ярчук, как у меня волк тот был всем волкам волк. Потом говорит он другому волку, уже поменьше: Иди ты, сразись с ярчуком. — Прибежал, схватились они дыбом, тот того и этот этого за шиворот взяли, ярчук схватил его и так бросил, что из него и дух вон. Дальше архангел Михаил на третьего указывает. Этот и маленький, и щетина на нем так и стоит, наежилась. Подбежал этот третий, как схватились, как стали драться, дерутся, бьются... убил волк ярчука, и духа в нем не стало. Тогда говорит архангел Михаил: Езжай, охотник, домой. Теперь сам будешь волков побеждать. — Тот поклонился, повел за собой коня за поляну, к пню подвел, сел и домой поехал. И как приехал домой, перекусил немножко и тогда как лег, то уже не встал. Его спрашивают: — Чего ты, как? Он и рассказывает: Вот как со мной было, я и испугался. Полежал и помер.

Д. Михайлов

# ЯРЧУК

(Из области необъяснимого)

Это было в Малороссии. Я жил в качестве дачника на одном пригородном украинском хуторе X-го узда. Это была не обыкновенная помещичья усадьба, а нечто вроде дачного курорта, куда горожане приезжали не только для летнего отдохновения на лоне природы, но и с целью полегчить от недугов при помощи естественных методов лечения, которые теперь все больше и больше входят в медицинскую практику.

Однажды, ранним вечером, сидели мы за ужином на веранде хозяйской дачи. Тут была сама хозяйка с детьми, брат ее, доктор, со своей семьей и несколько дачников-пансионеров: мужчины и дамы. Около стола, по обыкновению, вертелось несколько собак, в том числе «Пальма», — заурядная дворняжка среднего роста, с длинной желтовато-серой шерстью.

— Скажи, пожалуйста, Ваня, — обратилась хозяйка к своему брату, увидев эту собаку, — как ты объяснишь следующий случай?

У этой вот «Пальмы» в прошлом году родился в единственном числе щенок. Местом произведения его на свет она избрала подполье нашей спальной платформы на сеновал; подкопалась и устроила себе логово.

Спустя неделю, а, может быть, и больше, щенок стал показываться в выходе из подполья. Что это за прелестный был щенок! Весь черный, без единой отметины, шерсть волнистая и глянцевитая, мягкая, как бархат. Дети были от него в восторге и постоянно носились с ним.

Однажды в парке встретила их старуха-торговка из Перечного хутора и, увидев щенка, также залюбовалась им: «Ах, який гарный!» Но, узнав, что он родился одиноким, с тревогой проговорила: «Ой, дитки, це *ярчук*; вин жить не буде: его видьма везме».

Дети, конечно, были очень опечалены этими словами старухи, и я стала расспрашивать своих рабочих-малороссов, что такое ярчук? Все они в один голос заявили мне, что ярчуком в деревнях зовут щенка, который рождается, как они выражались, «едным» и непременно черной масти, без малейшей отметины, и что такой щенок непременно будет

утащен ведьмой и уничтожен.

— Вскоре после встречи со старухой, — продолжала хозяйка, — случилось такое обстоятельство. Легли мы все спать на нашей платформе на сеновале, дети другие все уже заснули, да и я сама начала забываться, как вдруг слышу под полом страшную возню; что-то там стучит, вертится, рычит, хрипит, и все это так громко, что все проснулись. Начну я стучать об пол палкой — шум замолкнет, но не пройдет и пяти минут, как он поднимется снова и как будто с еще большей силой. Так продолжалось далеко за полночь, и только перед рассветом все смолкло, и мы заснули.

Утром, как только проснулись и оделись, дети первым делом бросились к подполью и стали вызывать щенка, но, против обыкновения, он не показывался. Чтобы осмотреть хорошенько подполье, позвали рабочего с лопатой и приказали сделать подкоп с другого конца платформы. Оказалось, щенок забился в самый дальний угол и притаился там, словно бы от преследования. Немалого труда стоило извлечь его из этого убежища. Ну, тут дети уж буквально не выпускали его из рук.

На другой день предположен был переезд в город и по этому случаю ночевать приходилось не на сеновале, а вот здесь, у меня наверху. Боясь за участь своего любимца, дети просили меня позволить им взять его на ночь с собою, но я не позволила: не люблю спать в одних комнатах с собакой! Однако, чтобы успокоить детей, я устроила ему, казалось бы, вполне безопасный ночлег. Поставили вот в этом коридоре глубокую ванну, положили в нее щенка и накрыли ее большим, толстым брезентом; окна выходящих в коридор комнат позапирали шпингалетами, двери их затворяли, а двери самого коридора с черного хода и вот эту, что выходит на эту веранду, я собственноручно заперла изнутри на ключ. Окончив все эти предосторожности, мы отправились наверх спать и скоро заснули. И вот тут-то и случилось то, чего до сих пор не могу себе объяснить...

Ровно в двенадцать часов я проснулась от какого-то шума под окнами моей спальни. Но это был даже не шум, а



что-то такое своеобразное, чего я не умею и передать. Тут слышались: и визг, и рычание, и лай, и вой, и плач, и гудение и все это вместе представляло собой сплетение звуков злобы, отчаяния, мольбы, страданий, — звуков от самых низких до самых высоких нот, словно бы это был вихрь или, скорее, крутящийся ураган всевозможных голосов и звуков, какие только существуют в природе... Если бы несколько струнных и духовых оркестров сбить в беспорядочную кучу и заставить все инструменты изо всей силы издавать звуки, на какие они способны, то это представляло бы собой, мне кажется, некоторое подобие того, что я услышала. Понятно, я перепугалась; да и не я одна: на этот гвалт сбежались все дачники, какие еще не уехали, и даже рабочие со скотного двора прибежали, в чем были, полураздетые, — до того все переполошились.

Когда шум стих и я услышала внизу человеческие голоса, я сошла в коридор и — что я здесь вижу? Эта дверь из коридора на веранду открыта, ванна раскрыта и щенка в ней нет. Выхожу на веранду, мне навстречу идет ночной сторож Иван и держит в руках щенка.

— Где ты его взял? — спрашиваю.

— А вот, — говорит, — за цветником, по ту сторону огорода на дороге. Я бросился сюда на шум, прибежал и вижу: какая-то черная собака треплет кутька; я ударил ее палкой, аж палка пополам, а собака — ничего! Одначе, раз-другой еще трепнула кутька и бросила, а сама убежала вон туда, в нижний парк.

По осмотре щенка оказалось, что один глаз у него прокушен и морда вся изранена, — сочится кровь. Может быть, и туловище было изранено, но я уж не смотрела.

Чтобы спасти жизнь этому бедному зверьку, я распорядилась с рассветом отвезти его в город в ветеринарную лечебницу, куда он своевременно и был доставлен, но, как оказалось потом, он там в тот же день к вечеру издох...

**А. Вадзинская**

**БРОВКО**

Отец мой был священником в местечке Смелом, Полтавской губернии. Нас было 6 человек детей, все мальчики.

Росли мы свободно и привольно, целые дни на воздухе; летом в самых легких костюмах — рубашонке и панталонах с тесемочкой через плечо, зимой в барашковых полушубках и таких же шапках.

Местечко у нас большое, модное, богатое, одних церквей пять; неподалеку лесок, через который пробегала быстрая, прохладная речонка, а за лесом, так верстах в 3-х от нашего дома, раскинулась небольшая деревенька — Томаши. В ней тоже была церковь, в которой священником был когда-то отец Ярослав, умерший много лет назад, большой любитель садоводства и огородничества.

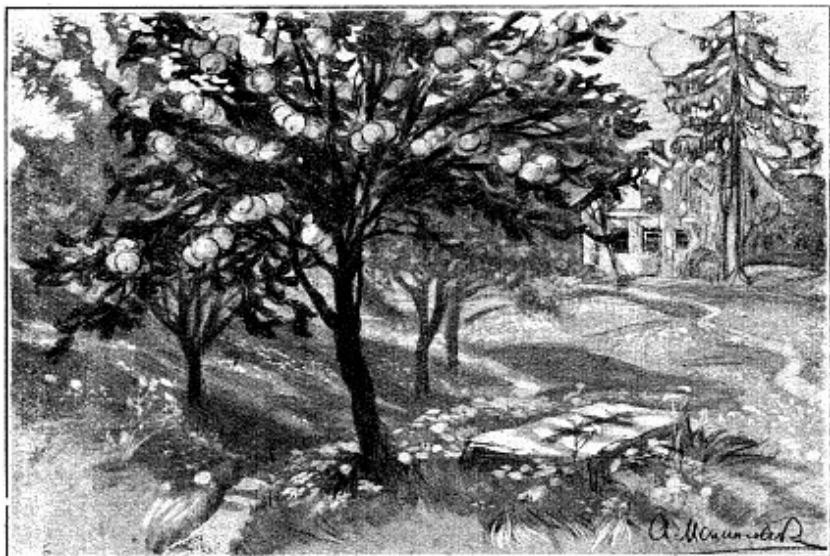
Домик его, в котором жила одна из дочерей его, Ярослава, как звали ее у нас, был окружен огромным фруктовым садом, старым и запущенным, как лес. В середине этого сада была могила Ярослава, каменная плита, осененная крестом, а крутом всего сада, с 4-х сторон, были вырыты канавы. В этих канавах водились змеи, так что народ говорил: «Змеи охраняют могилу Ярослава».

Прекрасные яблоки и груши в этом саду часто соблазняли нас, мальчиков, и мы, собрав подходящую компанию из таких же головорезов, как сами, отправлялись рвать плоды.

В старые годы в Малороссии не было запрета в садах: приходи, рви, ешь, сколько хочешь, только сучьев не ломай; много всего родилось, на всех хватало.

Отправляясь за яблоками на могилу Ярослава, мы остерегались змей, торопливо и осторожно переходя канавы, но нередко ловили их, перебивали им хребты камнем или палкой, тогда змея не могла уж ползти; потом пускали ее на муравейник.

Несчастное животное вьется на одном месте, но уйти не может, а муравьи моментально бросаются на нее, облепят и через 10-15 минут останется один голый скелет: все мясо и кожу съедят муравьи.



Обыкновенным нашим спутником во всех походах и странствованиях была огромная сторожевая собака Бровко. Это был рыжий, косматый пес, с большой щетинистой головой, отличный сторож и страшно злой.

Бровко был *ярчук*. Так называлась у нас в старину собака, которую ничто не берет: ни лютый зверь, ни змеиный яд. Отличительная черта такой собаки — черный зуб. Такой же был и у нашего Бровка. Он никогда не позволял гладить себя, ласкать, хотя был очень привязан к нам, ходил следом за нами.

Бровко и еще маленькая комнатная собачка Альба, которая тоже иногда сопровождала нас, если увидят змею, стараются стать на нее передними ногами, широко раздвинув их; тогда змея теряет способность движения, и собака, разрывая ее, пожирает. Не всегда, однако, эта борьба со змеями проходила безнаказанно для собак.

Как-то раз летом мы отправились за яблоками на могилу Ярослава, Бровко и Альба сопровождали нас. Набрав полные карманы яблок, мы отправились купаться на реку, а о собаках и забыли.

Поснимав панталоны и рубашки, мы бросились в прохладную воду, купались, шалили, смеялись и все больше и больше отдалялись от места, где сложили свое платье.

В это время на берег реки пришли свиньи и, почуяв яблоки в карманах панталон, стали тащить их оттуда, причем изорвали в клочья, так что, когда мы вышли из воды, пришлось идти домой в лохмотьях.

Наше смущение было велико, все ожидали от матери головомойки, но, возвратясь домой, застали всех домашних в тревоге: собаки вернулись домой, сильно искусанные змеями, распухшие.

Особенно сильно пострадал Бровко. Он забился в угол конуры и не шел на зов. Маленькую Альбу лечили, поили молоком, давали лекарство, но Бровко ничего не брал. Целую неделю пролежала собака в конуре и только раз или два в день выходила пить.

Среди двора был колодец, а около него стояло корыто с водой для барашков. Бровко подходил к этому корыту и долго-долго с жадностью пил из него, потом опять уходил в свою конуру. «Ярчук, — говорили бабы-работницы, — не пропадет, отлежится».

И действительно, через неделю он выздоровел совершенно, только голос у него с тех пор стал грубый, хриплый, лаял он совершенно басом и стал еще злее. И раньше он никого не подпускал ко двору, а теперь даже на нас рычал, когда мы подходили к скотине.

Вообще эта собака замечательно хорошо исполняла свои обязанности: целые дни и ночи она обходила двор, сад, дом, навевывалась и в конюшни и на гумно.

Удивительно, когда она спала. Ляжет, бывало, у ворот, кажется, спит. Глаза закрыты, дышит ровно, но уши настороже, малейший шорох — она открывает глаза и, если увидит чужого человека или собаку, моментально вскакивает и разражается громким лаем.

В жаркие дни, когда птица спит, а скотина в поле, Бровко сопровождал нас и тоже не подпускал чужих со бак.

Когда мать станет, бывало, кормить птицу, Бровко все время ходит вокруг и рычит; если увидит приближаю-



щуюся свинью, то бросится на нее и отгонит прочь. Он терпеть не мог, когда его отвлекали от исполнения его обязанностей и поэтому сердился и не шел на зов, если был занят.

Как ни любил он нас, детей, как не охранял от чужих, но раз, рассердившись, даже бросился на младшего брата.

Дело было так: кормила мать уток, на земле стояло корыто с отрубями, а вокруг ходила по обыкновению собака. Маленький Саша с куском огурца в руке стал кликать: «Бровко, Бровко», но тот и не думал останавливаться. Тогда мальчик стал рычать: «Р...р...р...»

Этого звука терпеть не могла собака. Недолго думая, она бросилась на ребенка и укусила его за руку так, что он выронил огурец и громко закричал. Когда мать взяла палку, чтобы побить Бровко, он лег у ее ног и так смотрел в глаза, как будто спрашивал: «Зачем же он меня дразнил?..» Так прожил он у нас несколько лет, стал стар и по ночам стал выть. Сидит, бывало, зажмурив глаза, и воет-воет целыми часами своим страшным басом.

У нас есть поверье, что если собака воет, то накликает беду или покойника. Мать была женщина суеверная, она стала упрашивать отца отдать кому-нибудь собаку. Как отец ни уговаривал ее не верить сказкам, мать стояла на своем: «Отдай собаку, а то накличет беду; недаром она *ярчук*».

К нам часто ездил мелкопоместный помещик, сосед, отец и предложил ему Бровко. Сосед очень обрадовался..

«Такая чудесная собака, она отлично будет ходить за овцами».

Через несколько дней он прислал за ней телегу и человека. Бровко связали и положили на дно телеги. Собака с удивлением глядела, как ее вязали, но не сопротивлялась, а только тихо визжала.

Нам было очень жаль верного друга и сторожа, но мы не смели ничего сказать, потому что это было желание матери.

Работник сел в телегу и покатил. Но через неделю он же привез собаку обратно и рассказал нам следующее:

Когда отъехали версты три от нашего дома, Бровко вдруг бросился на человека, несмотря на то, что был связан, и чуть его не кусал.

С большим трудом удалось ему засадить Бровко в мешок и привезти его домой. Здесь его посадили на цепь, но он не ел, не пил и рычал, если кто-либо подходил к нему. Помещику стало жаль собаку, он боялся, что она издохнет от голода, и он приказал отвезти ее обратно.

Когда Бровко развязали у нас во дворе, он начал выказывать большую радость, прыгал, скакал, ласкался к отцу, чего прежде никогда не делал, но с той поры Бровко не стал больше жить во дворе, точно боялся, что его опять отдадут кому-нибудь.

Он уходил в степь с барашками и ночевать возвращался с ними же в кошары\*. Он так и погиб, сторожа скот.



За хатой пастухов, рядом с кошарами, стоял прошлогодний стожок сена, почти развалившийся, высотой не

---

\* Кошарами называются в Малороссии низкие и длинные сараи, где ночуют и зимуют овцы (Прим. авт.).



много ниже крыши. Так как кошары были довольно далеко от села, то осенью на овец нападали волки.

Но Бровко никогда не допускал их подойти близко. Он отлично чувствует, бывало, как подходят хищники, быстро вскакивает на стожок, оттуда на крышу и громким лаем прогоняет волков и извещает всех об опасности. Волки обращаются в бегство, а он бросается за ними и преследует их.

Так продолжалось довольно долгое время, но, наконец, волки решили отомстить верному сторожу.

Эти в высшей степени умные и хитрые животные устроили засаду следующим образом: в то время, как Бровко лаял с крыши, несколько волков зашли с противоположной стороны и спрятались за кошары, остальные бросились бежать.

Собака погналась за ними и, достигнув леска, вернулась обратно. Но в это время волки, бывшие в засаде, выскочили и разорвали верного пса.

Так и погиб Бровко, исполняя свои обязанности, несмотря на то, что был ярчук и имел черный зуб, который должен был бы спасти его от волков.



**И. Ремизова**

# **БЕСОГОН**

Хозяйка вышивает гобелен. Хозяин на охоту снарядился.

...Собачьи дети девяти колен убиты были, чтобы он родился. Вонючей тиной заросли мешки — в них матери, сыночки их и дони. Им хорошо. Они на дне реки. А он один, в сыром подземном схроне.

Он видит сны про облако и сад, где нет людей, а звери лишь да птицы: там у ворот — его лохматый брат, а на поляне — рыжие сестрицы. Они резвятся весело — увы, его к себе ничуть не ожидая, и только мама смотрит из травы глаза в глаза — такая молодая.

Он слышит, сатанея от тоски: чумазые, в коросте от болячек, ровесники — соседские щенки — гоняют впятером тряпичный мячик, и так им хорошо от суеты и воли, одурительной и сладкой, что даже многомудрые коты на крышах улыбаются украдкой.

Он знает, что особенный — его оберегают, как зеницу ока, затем, чтоб никакое колдовство его не изничтожило до срока, не придушила намертво петля, не отравила сорная мучица — вокруг него поставлена земля, и борона ощерилась волчицей.

Он понимает, сам себя страшась, и оттого то рыкая, то плача, что с каждым часом всё сильнее связь с необъяснимым чем-то несобачьим, и хочет затаиться и пропасть, и чувствует: как черти в табакерке, чужие зубы заполняют пасть — опасные, стальные, не по мерке.

Не спится. Прокопать бы тайный лаз и убежать — к Макару и телятам. Но чей-то ненавистный желтый глаз следит за ним, от самого заката — и, позабыв о том, что глух и нем подлунный мир, бездельник и прокуда, ярчук поет — от ненависти к тем, из-за кого рожден и жив покуда.

О. Стороженко

**ЯРЧУК**

Не мара, не мана, раздивились — сатана!

*(Малорусская поговорка)*

У кого не билось сердце, когда, после нескольких месяцев пребывания в пансионе, он возвращался на праздники домой? И теперь еще, по переходе за половину века, у меня, при одном воспоминании об этом, душа рвется в невозвратность прошедшего, а тогда... все приводило меня в восторг неописанный, необъяснимый: и засохшая безобразная верба, от которой с большой дороги сворачивала проселочная дорожка в деревушку моего отца, и ток с старою клуною, осевшею грибом, и заглохший сад, и дом под соломенною крышею. Все это, скромное до убожества, представлялось мне краше Армидиных садов, великолепнее роскошных дворцов. Бывало, едва бричка подъедет к крыльцу, дворня высыпет из людских, и радостные крики: «Панычи приехали, панычи!» раздаются со всех сторон; старушки-нянюшки хныкают от радостного умиления; собаки прыгают, ласкаются. Приводя на память эти светлые картины минувшего, постигаешь всю силу слов Гоголя: «О моя юность! о моя младость!»

В вознаграждение за успехи и претерпенные, по мнению нежных родителей, страдания в пансионе, нам давали полную свободу располагать временем и занятиями по нашему произволу. Я не любил вставать рано и, в этом случае вполне пользуясь предоставленным нам правом, спал сколько душе моей хотелось.

Федор, дядька наш, угрюмый и сварливый старик, исполнявший волю барина, в отношении к нам, с педантической точностью, пользовался также особенными привилегиями. Его служба состояла только в том, чтобы одеть нас утром и раздеть вечером; остальное время принадлежало ему, и он проводил его в своей семье, жившей на деревне. Тут-то в интересах наших встречалась разладица: я утром засыпался, а Федор спешил отделаться, чтобы поскорее отправиться в

свою хату.

Жалок и смешон был старый дядька, неизобретательный и не бойкий на хитрости. Когда приходилось ему будить меня, он упрасивал, сердился, угрожал:

— Ей-Богу, — говорил он, — уйду, и платье еще спрячу; вот тогда целый день и будете валяться, пока вечером не приду вас раздеть.

— А который час? — спрашивал я нарочно, чтобы prolongировать время.

— Да уж более часу, как прокукало девять часов (у моего отца были часы с кукушкой); скоро будет десять.

Все это я слышал сквозь сон и с особенным наслаждением чувствовал, что я сплю.

Истошивши убеждения, он прибегал к хитростям.

— Что это?! — бывало, закричит, подходя к окну. — Василий волка затравил, ого-го! какой же большой!..

При таких восклицаниях я обыкновенно вскакивал с постели и кидался к окну, а Федор хохотал, радуясь, что наконец удалось ему вывести меня из усыпления. Разумеется, после двух-трех подобных выходов, ему более не удавалось меня обмануть, но он не унывал и всегда прибегал к одним и тем же средствам.

Однажды, истоживши все, что у него было в запасе, он наконец смолк, и я снова погрузился в глубокий сон.

— Фома! Фома! — вскричал Федор непритворно торопливым голосом. — Ей-Богу, Фома, и с собою привел!

— Федор! — закричал я, вскакивая с постели. — Давай одеваться!

В Малороссии есть народное поверье о существовании собак, одаренных сверхъестественною силой, пред которою не устоит никакое дьявольское наваждение, и кто бы такой собаке в зубы ни попался, ведьма ли, или хоть сам черт, задавит без пощады. Собак этих называют ярчуками и отличают от прочих по особнным приметам. Почти всякий знает в Малороссии сотни интересных историй о ярчуках, а редкий по совести может сказать, что случалось ему видеть их на своем веку. Вот и мне также рассказывали, что у нас есть на хуторе ярчук, совершивший какой-то необык-

новенный подвиг; но как отец мой строго запрещал рассказывать нам о мертвецах и разных страхах, пугающих детское воображение, то происшествие это, потревожившее отца моего и сильно взволновавшее всю деревню, оставалось для меня тайною.

Вот почему, при магическом слове Ярчук, я с такою поспешностью воспрянул от одра и сна.

— Федор, голубчик, — бормотал я, проворно одеваясь, — поскорее; ради Бога, поскорее!

— Успеете еще, — отвечал Федор с обыкновенною своею флегмой, не торопясь. — Ведь Фома до вечера останется, он и ночью в хутор\* пойдет... чего ему бояться... с такою собакою — не страшно ни зверя, ни самого сатаны.

В несколько минут я был готов и опрометью выбежал на двор. Федор последовал за мною. Около Фомы собралась почти вся дворня, так что я тогда только увидел его и Ярчука, когда она расступилась при моем приближении. Подле низенького мужичка с седым чубом стояла огромная черная собака из породы овчарок; длинные ее космы закрывали ей глаза; около задних ног и на хвосте висели кудлы, сбившиеся войлоком, а на спине, от чесания, образовалась плешина, так что сквозь редкую шерсть просвечивала красноватая кожа. Собака, от сильного зноя и утомления, вывалила язык и тяжело дышала.

Все с каким-то уважением смотрели на ярчука, а Фома стоял гордо, с достоинством, одною рукою опираясь на гирлику\*\*, пастырский свой посох, а другою глядя верного своего товарища.

Пред собакою поставили миску с водой и принесли несколько кусков хлеба. Я взял один ломоть и подал собаке, но она не стала есть и смотрела на Фому.

---

\* В степях хутором называют всякое жилье, состоящее из одной или двух изб, не более (*Здесь и далее прим. авт.*).

\*\* Особенного рода длинная палка с крюком на конце, употребляемая гуртовщиками для ловли овец.

— Ешь, Кудла, когда дают, — сказал Фома, потрепав ее по спине.

Кудла схватила хлеб и с жадностью съела.

— Какая разумная! — отозвалось в толпе. — Без спроса не берет.

— Она у меня и поет, — ухмыляясь, проговорил Фома, вытягивая из-за пазухи сопилку\*. Он заиграл, а Кудла, подняв вверх голову и вытянув шею, жалобно завывала. Дворовые собаки страшно взбеленились, наежились и лаяли, но только в отдалении: ни одна не смела приблизиться.

— А! почуяли! — презрительно усмехаясь, сказал Фома. Гавкайте\*\* себе сколько хотите; Кудлы моей не испугаете!

— Кто же ее испугает, — заметил Фаддей, старый кучер, мнение которого очень уважалось всею дворнею, — когда самого черта задавила!

— Как! — вскричал я. — Черта задавила?

— Да, задавила, — отвечал Фаддей, робко взглянув на Федора, — спросите Фому.

— Расскажи, Фома, голубчик! — завопил я умоляющим голосом.

Фома вопросительно посмотрел на Федора.

— Рассказывай! — решительно сказал дядька. — Нашего паныча не испугаешь.

— Рассказывай, рассказывай! — заговорила нетерпеливо дворня и плотно сдвинулась около Фомы, который, в тысячу первый раз, начал повествование следующим образом:

— Сім рик назад, був у нас коровник Омелько. Знатный був челоовьяга, тихий, смирний, тильки вже й линивій, з биса. Було в неділю, де коли, зберемся у церьков, дойдемо до Гострой Могили, от він и ляже. Не пійду, каже; далеко, я и тутечки помолюс. И вже що йому не кажи, як не панькай, не pomoжеться, мовчить соби, мов у його повен рот воды, та тильки сопє\*\*\*.

---

\* Свирель.

\*\* Лайте.

\*\*\* Семь лет тому назад, был у нас пастух Омелян. Славный был малый, смирный, тихий, только из рук вон ленив. Бывало, в воскресенье,



— Вже не знаю, чи от того, що в церьков не ходив, чи от другого чого, тильки трапилась йому така халепа, од якої нехай Бог боронить и ворога — що, яось, чортяка йому в глотку ускочив!!\*\*

— Черт вскочил в глотку?! — вскрикнул я с изумлением, окинув быстрым взглядом слушателей; но ни на чьем лице не приметил малейшего сомнения, так рассказ Фомы казался вероятным, естественным. — Нет! — продолжал я утвердительно, — это вздор! это невозможно!..

— Невозможно, чтобы черт в глотку вскочил?! — возразил Фаддей, насмешливо взглянув на меня. — Да это для него тьфу!..

— Конечно, тьфу! — повторили многие, а некоторые громко захохотали, до такой степени неверие мое казалось им странным и смешным.

— Да как же он вскочит?! — спросил я, смутясь, видя, что и Федор на стороне общего мнения.

— Очень просто, — отвечал Фаддей с уверенностью. — Если у человека недоброе на уме, вот уж черт от него и близко, а тут, ему на лихо, случится зевнуть, не перекрестится, а чертяка и нырнет ему в глотку, вот так.

Фаддей для ясности икнул, как будто что проглотил.

— Пошел доказывать! — с досадою прервал дядька. — Досказывай! — прибавил он повелительно, обращаясь к Фоме.

— Ну, як ускочив в глотку, — продолжал Фома, — так зараз и почав мордовать Омелька. Було ни с того ни с сього, вдарить його об землю, тай почне ломати так, що аж запинится сердечный и посатаніє; з першу не розчовпили

---

иногда, соберемся в церковь, дойдем до Вострого Кургана; вот он и ляжет. Не пойду, говорит, далеко, я и тут помолюсь; и что ему ни говори, как ни упрашивай, молчит себе, как будто у него полон рот воды, да только сопит.

\*\* Уж не знаю, от того ли, что в церковь не ходил или от другой причины, только приключилась с ним такая беда, от которой да помилует Бог и врага: каким-то случаем вскочил ему в глотку черт!!

добре, що воно таке, тай почали лічити, возили його в Юдину до шептухи и до лікаря у город; не помогалося, ще гирш стало: було в місяць один раз тильки нівичить його, а то так разлютовався, що став по два и по три раза мордовать, та ще так, що сердега лежить цілісенький день, мов неживый. От стари люди и стали казати, щоб повезти його у Коткі до знахарки; тилько що вони до неї привезли, так зараз вона и пізнала, в чим сила; дуже разумна и знающа була бабуса. Ни, каже, тут чоловік нічого не вдіє: нечистий йому в утробу забравсь; треба Бога благати. Зачали атчитувати, харамаркали, служили молебни, акафисти, не помогає — же гирш стає. От стари люди знов стали совитовать повезти його у Кієв и вже було зовсим зібрались, як тут побачив нечистий, що якось йому припадає не до чмиги: сюди-туди, круть-верть, добре зна, гаспедив сын, що в Кієві буде йому халепа; нічого робить, узяв, та отразу и задавив Омелька.

Дней з пять після Питра, ураньці, підтіхав до нашої отари прикащик Прокип; гукнув на мене, тай каже: чи знаш, Хомо! Омелько наш дуба дав! Як дав, одвитую-то, нехай його Бог на тим свити помилує! Так, от за чим я до тебе забіг, знов каже Прокип: сіюг дни череду перегнали на колодяжну, и в хаті, где лежить Омелько, зосталась одва тильки Кулина; так щоб ій не так страшно було одній, пійдеш у хутирь на подмогу, постерегти нічью покійника, а завтра пришлю домовину, и усе що треба на поминовеніє. — Ище сонечко высокенько стояло, як я, попрощавшись с хлопцями, потяг собі в хутирь и Кудла увязалась за мною. Тогди ще не знали ми, що вона була Ярчук, тилькі видно вже було, що не проста, бо як загарчить на яку-небудь собаку, то вона так и гепнется об землю тай дух притаїть, а було завиют волки, то тильки гавкне, зараз и змовкуть, а на низькому мисті ніколи не лягала, усе або на могили, або на бабаковини\*, а зуби таки гостри та велики, як у звіряки.

---

\* В степях до их населенія водилось множество байбаков. И теперь еще, на тех местах, где были их норы, поля испещрены насыпями в

Сонечко сідало, як я прийшов в хутирь. Кулина стояла недалечко от хати и дуже зраднила, як мене побачила. Слава ж Богу, каже, що прийшов, а міні так сумно стало, що хотіла було вже тікати. Дурна, кажу, чого ж ты злякалась? Як чого?!.. каже, хиба не знаєш, що нечистий в нім сидить; того і гляди, що в ночі що устане. От таке розкажуй, кажу, Омелька й живого було не скоро підіймеш, як ляже, а вона схотила, щоб мертвій устав; коли ж, каже, не своєю силою, а нечистій іосо підійме. Ген, подивись лишень, якій лежить, страшно и глянуть.

Війшов у хату, дивлюсь: справді Омелько такій страшній. Уся пика посиніла, голову йому якось до потилиці притягло и рот зкривило, аж зуби вискалив. И мине щось сумно стало. Як зовсім смерклося, достали з покутя страстну свічку, устромили у пляшку, тай засветили. Кулина моя дрижить, мов трясця їи трясє. Упоравшись, вийшли з хати, а дверей не позачинили. Дивчина сила собі на призьби, а я ліг биля поріга. Побалакали трошки, тай замовкли и я став кунять; тільки чую, щось стукнуло у хаті, яй будто хто кулаком по столу вдарив. Кудла підняла голову и загарчала. Мене як морозом окотило, а чуприна до гори полізла. Схопивсь, дивлюсь: нема Кулини; покликав, не отзивається, кудись бисова дивчина помандровала — ищи страшнійши стало. Однак помирковав собі, яка ж там мара стукнула; чи не кишка, думаю; перекрестивсь, тай війшов в хату. Дивлюсь: Омелько лежить як лежав, тільки права рука звалилась з грудей на стол. Так мини сумно стало, що розказати не можно; як будто хто за комір хвата, а чуприна ак до гори и піднялась; ледви вибіг з хати. Помолився Богу; трошки полегчало, от я знову ліг на порози и Кудлу коло себе положив. Довгенько лежав, нічого не чуть; тільки що зачав кунять, а тут разом як гепне щось у хати; як застука, захрускотить, аж земля застогнала. Я схопивсь, та с переляку и стою, як стовб, в землю вкопаній, а Кудла моя

---

аршин вышиною и около трех в диаметр. Степовики называют эти возвышения бабаковинами.

гавка, аж скавучить; глянув, аж тут, батечки мої, кругом мене літають кажани, гадюки, метли, горшки і всяка нечисть с козлиними і свинячими рылами. Перекрестився б, то може б, воно і поховалось, так не підійму ж руки: стою я, неживий, а тутичка бачу, вибіг з хати Омелько і так на мене і кинувсь, а Кудла хап його за литки; як зареве Омелько, чи чортяка, так мене і прибгав до себе. Не знаю вже, як міні Бог помиг, що якимось випручавсь тай чкурнув в степ. Биг, биг, поки в бур'яни не заплутався і не бебехнувсь об землю. Груді міні підперло, що не одишу і так трясуся, як мокре щеня на морози. Прислухаюсь; щось шамкотить у бур'яні; дели: плиг, плиг! дивлюсь, моя Кудла усе оглядується, причува та обетується. Подбигла до мене, стала лащитися; погладив її, бачу морда і груді мокрі учимсь липким, як смола. Незабаром стало світати, зокукурикали півни, полегчало міні, як на світ народився, устав; помолився Богу, а тут розвиднюється; гляжу, аж у мене руки, а у Кудлы морда і груді у крові. Думаю, чи не поранив чортяка собаки, тай ні, розібрав шерсть, нигде нема рани; що за причина, думаю, с ким же се вона кусалась?! Зачервонило небо, сонечко от-от вигляне из-за гори; уже міні зовсім не страшно. От я і пішов до хати; Кудла, піднявши хвіст, біжить попереду і до мене оглядається, як би щось хотила казати. Став підходить ближе, раздивився, аж то Омелько. А тут і Кулина иде, дивимся і очам вири неймемо: лежить Омелько, витрищивши очі, весь в крові, а глотка як ножом перетята і ціла річка крові, чорна як діоготь, так-таки геть-геть даличонько оттекла\*.

---

\* Ну, когда вскочил в горло, так и начал мучить Омелько. Бывало, ни с того, ни с сего, ударит его об землю, да и начнет ломать, так что у несчастного пена выступит из рта и он совсем осовеет. Сначала не поняли настоящей причины его болезни и стали лечить: возили в Юдину, к шептухе, в город к лекарю — никакой пользы, еще хуже стало: бывало, в месяц только раз потреплет его, а потом так разлютовался, что стал мучить его по два и по три раза, да еще так сильно, что бедняга лежит целый день, как мертвый. Вот старые люди и начали советовать, чтобы повезти его еще в Котки, до знахарки. Как скоро его к ней привезли,

---

так она в ту же минуту угадала, в чем дело: старушка была очень разумна и знающа. «Нет! — говорит, — тут человек ничего не пособит; нечистая сила забралась ему в утробу — нужно Бога молить». Начали отчитывать, служили молебны, акафисты — не помогает! все хуже и хуже. Вот старые люди снова начали советовать свозить его в Киев, и совсем было уже собрались, как видит нечистый, что ему приходит плохо — сюда-туда, круть-верть! проклятый знает, что в Киеве ему не сдобровать; нечего делать! взял, да сразу и задавил Емельку.

Дней через пять после Петрова Дня, утром, подъехал к нашей отаре приказчик Прокофий. Позвал меня, да и говорит: «Знаешь ли, Фома? Емелька наш умер!» — «Если умер, — отвечаю, — то да помилует его Бог на том свете!» — «Так вот зачем я к тебе заехал, — продолжал Прокофий. — Сегодня стадо перегнали на колодежную, и в хате, где лежит Емелька, осталась одна Акулина; так чтоб ей не страшно было одной, отправься в хутор помочь девке постеречь покойника, а завтра пришло гроб и все, что нужно для поминок.

Еще солнце высоко стояло, когда я, простясь с товарищами, поплелся в хутор, за мной и Кудла увязалась. Тогда еще не знали, что она ярчук; заметно было только, что и не простая, потому что, как бывало зарычит на какую-нибудь собаку, то она так и брякнется на землю и дух притаит, а бывало, завоют волки, только залает, сейчас и замолкнут, а на низком месте никогда не ложилась, все или на курган, или на байкаковой насыпи, а зубы такие были острые и большие, как у волка.

Солнышко уже садилось, когда я пришел в хутор. Акулина стояла поодаль от хаты и очень обрадовалась, когда меня увидела. «Слава Богу, — говорит, — что пришел, а на меня такой страх напал, что хотела было уйти». — «Глупая, — говорю, — чего же ты испугалась?» — «Как чего?! разве не знаешь, что нечистая сила в нем сидит; того и гляди, что ночью еще встанет». — «Вот что! — говорю. — Емельку и живого, бывало, не скоро поднимешь, когда ляжет, а она захотела, чтобы мертвый встал». — «Так, — говорит, — не своею силою, а нечистый его поднимет. Посмотри, какой лежит: страшно и взглянуть».

Вошел я в хату, смотрю: в самом деле Емелька такой страшный. Вся рожа посинела, голову ему как-то к затылку потянуло, рот скривило, так что аж зубы оскалил. И мне что-то страшно стало. Когда совсем смерклось, сняли с подоконника страстную свечу, воткнули в бутылку и зажгли, а Акулина моя дрожит, как будто лихорадка ее бьет. Управившись, вышли из хаты, а дверей не притворили. Девка села себе на завалине, а я лег около порога. Побалагурили немного, смолкли, и я начал дремать; только слышу, что-то стукнуло в хате, как будто кто

---

ударил кулаком по столу. Кудла подняла голову и зарычала. Меня как морозом обдало, а чуприна дыбом стала. Вскочил, смотрю: нет Акулины; позвал, не откликается; куда-то чертова девка тягу дала, еще страшнее стало.

Однако ж поразмыслил хорошенько, какая там сатана стукнула, не кошка ли, думаю; перекрестился, да и вошел в хату. Смотрю: Емелька лежит, как и лежал, только правая рука свалилась с груди на стол. Такой меня страх взял, что и сказать нельзя, как будто кто за ворот хватает, а чуприна так и поднимается кверху, едва мог выбежать из хаты. Помолился Богу, немного полегчало; вот я опять лег около порога и Кудлу подле себя положил. Долгонько полежал, ничего не слышать; но только начал дремать, а тут вдруг как грохнется что-то в хате, как застучит, затрещит, аж земля застонала. Я вскочил и с перепуга стою как столб, врытый в землю, а Кудла моя лает, аж заливается; оглянулся тут, отцы родные — кругом меня носятся летучие мыши, змеи, метлы, горшки и всякая нечисть с козлиными и свиными рылами. Если бы перекрестился, то, может быть, она бы и исчезла, так рука не поднимается: совсем обомлел; тут, вижу, выбежал из хаты Емелька, и как кинется на меня, а Кудла хват его за икры! Как заревет Емелька или сам черт, так меня и сграбастал под себя. Уж не знаю, как мне Бог помог, что я высвободился, да и подрал в степь. Бежал, бежал, пока не запутался в бурьяне и не грянулся на землю. Насилу мог вздохнуть, так мне грудь подперло, и так дрожу, как мокрый щенок на морозе. Прислушиваюсь, что-то шелестит в бурьяне, потом скок, скок, смотрю: моя Кудла! все оглядывается, причуывает да облизывается. Подбежала ко мне, стала ласкаться; погладил ее; вижу, морда и грудь мокрые, в чей-то липком, как смола. Через несколько времени начало рассветать, запели петухи, легче мне стало, как на свет и родился; встал, помолился Богу, а тут светлей становится, взглянул, а у меня руки, а у Кудлы морда и грудь в крови. Не поранил ли черт собаки, подумал, так нет: разобрал шерсть, нигде нет раны; я призадумался, с кем же она там грызлась? Зарумянилось небо, солнышко вот-вот выглянет из-за горы, уже мне ни крошечки не страшно. Вот я и пошел к хате. Кудла, поднявши кверху хвост, побежала вперед и так на меня посматривала, как будто хотела что-то сказать. Стал подходить: что-то белое лежит около порога; подошел ближе, разглядел, ан это Емелька, а тут и Акулина идет; смотрим и глазам не верим: лежит Емелька, вылупивши глаза, весь в крови, а горло как ножом перехвачено, и целая река крови, черная как деготь, разлилась так-таки далеконокьо.

— Значит, Омелька был жив? — вскричал я. — У мертвого крови не бывает.

Все захохотали.

— Не Омелька был жив, а чертяка, который в нем сидел, — возразил Фома, — оттого и кровь такая черная, чертова, а не человеческая. Тут только мы дознались, — прибавил Фома, погладив собаку, — что Кудла была Ярчук.

— Эх, жаль, — вскричал Терешка-воловик, весьма простой малый, — очень жаль, что не знали прежде, что у нас есть такая собака, а то бы вывели покойного Омельку в степь, да каким-нибудь побытом выперли с него черта, да и затравили бы как кривенького\*.

Несмотря на нелепость этого предложения, почти всем оно понравилось; один Фаддей возразил:

— Да как же его выпереть? — говорил он, — это тебе не зайца выгнать из лимана.... А нечего сказать, славная бы штука вышла, — продолжал он, усмехаясь, так что легко можно было угадать по выражению его лица, что он живо представлял себе травлю черта, — если б того... выперти... да того... улю-лю!..

— Да! знатная бы штука была! — подхватила дворня, расходясь, и каждый унес в своем воображении дивную и еще невиданную картину травли черта.

Федор отправился в свою хату, и я проводил его до ворот.

— Правду ли говорил Фома? — спросил я Федора.

— Чистую правду, — отвечал он, — тогда и суд выезжал, — потрошили Омельку.

— И что же? нашли, небось, черта?

— Как же; лекарь его намотал на палочку и спрятал в банку с спиртом.

— Да ты видел??

— Как же, все видели.

— Какой же он?!

— Как гадина, только длинный, предлинный, и все коленцы да коленцы. Видно, Кудла его-то пошарпала.

---

\* Степовики зайца иногда называют кривеньким.

**Н. Дурова**

**ЯРЧУК  
СОБАКА-ДУХОВИДЕЦ**



## ЧАСТЬ I

В один из лучших майских дней в конце XVII века несколько студентов, из которых трое или четверо только что выпущены были из университета, сговорились праздновать день своего выпуска на открытом воздухе, за городом, и для этого выбрали место, которое показалось им самым романтическим: это был небольшой перелесок на очень высокой горе, над рекою.

Хотя место, ими выбранное, было довольно далеко от города, несмотря на это, молодые люди решились идти туда пешком, и чтоб ничье присутствие не портило изящества их праздника, согласились не брать с собою никого из служителей.

— В ближайшей деревне мы купим молока, хлеба, овощей и с этим запасом проведем целый день, не нуждаясь ни в какой прислуге, — говорил старший товарищ, — а чтоб удовольствие наше было совершенно во всех отношениях, то надобно, чтоб мы видели из нашей пиршественной залы не только закат солнца, но также и восход его. Согласны?

— Согласны! Согласны! О Боже! Еще бы не согласиться! Да тебя расцеловать надобно за это предложение! Вот восторг! Видеть, как появится царь всей природы! — Так восклицали юноши, высыпаясь шумною толпою из ворот.

Наконец они отправились и как намеревались, так и сделали: накупили в ближайшей деревне хлеба, сыру, масла, яиц, молока, изюму, яблок — одним словом, всего, что только могли найти; все это разделили поровну, и каждый сам понес свою часть. Молодые люди пели, смеялись, припоминали свои университетские шалости, странности своих учителей, хитрости товарищей, их проказы. Веселое общество и не видало, как очутилось на месте, назначенном для их полевого пира.

Все, что есть в природе лучшего, было пред глазами их в необъятной картине. Взор их то следовал за бесчисленными поворотами реки, блиставшей золотом от лучей солн-

ца, то покоился на необозримых зеленых коврах, разостланных возвратившеюся хозяйкою земли — весною, то любовался пестротой цветов; молодые люди не могли насмотреться на обновляющиеся красоты природы и нарадоваться ими. Шум берез томил негою сердце их; что-то есть в этом шуме, производимом перелетом ветерка сквозь ветви, что-то есть в нем говорящее душе! Несмотря на все умствования черствого равнодушия, на все насмешки ложных философов, на вялую улыбку жалких сибаритов, несмотря на все это, вооружающееся против прелести сельской жизни, сердце наше — когда не испорчено еще — говорит нам, что природа — мать наша и что она имеет голос для детей своих, все в ней выражает любовь ее к нам; например: говор ручья, бегущего по камням, его сверканье, плеск — это ласка природы! Колебание гибких ветвей, гармонический шум листьев, их трепетанье — ласка природы! Зеленый лоснящийся цвет молодой травы, ее бархатная мягкость, ее свежесть, все-таки ласка природы! Всем этим она лелеет нас, говорит нам, называет нас детьми своими! Иначе для чего б сердцу нашему трепетать от удовольствия, наполняться радостью, таять негою, если б все это не было речью и ласками нашей общей матери? Молодые люди, из которых младшему было двадцать, а старшему двадцать шесть лет, уверялись в этой истине и разумом, и сердцем — всеми пятью чувствами своими.

— Велика тайна природы! Не разгадана! Непостижима для ума нашего, — говорил старший студент, перенося взор свой с предмета на предмет, — и как все прекрасно, изящно! Нет выражения описать, что теснится в душе при виде всего, что представляется глазам нашим!

— Жаль только, что все эти прекрасные виды портит соседство кладбищ! Печальные насыпи, надгробные памятники, ряд крестов и грустная тень сосен глухо говорят нам, что все эти красоты, радости, ясное солнце, благоуханный воздух, аромат цветов — непрочны! Что со всем этим надобно будет расстаться! И кто еще знает, когда? Может быть, разлука эта настанет в лучшую пору жизни нашей, в счастливейшее ее мгновение!..

— В самом деле, как все в свете сем перемешано. Хорошее почти всегда идет об руку с дурным! Что могло бы быть прелестнее этих видов, если б тут не было столько кладбищ!.. А то, чем более пространства объемлет взор наш, тем большее число их можно насчитать; сколько маленьких хуторков, чистых, красивых, и вот близ каждого из них — группы сосен, и под ними — могилы.

— Ну что ж? — Это тень в картине.

— Очень неприятная! Лучше, если б ее не было.

— Да, да! И я с этим согласен, лучше, если б ее не было! Видишь ли: ведь мы хотели веселиться, а теперь, по милости этой «тени в картине», толкуем об ней, и о том, что жизнь наша коротка, тогда как каждому из нас достанется, может быть, целые сто лет прожить.

— Может быть. А может быть, и чрез год никого из нас не будет!

— Ну, друзья, лучше б нам не забираться на такую высоту, не видали б мы столько кладбищ!.. Ты что так задумался, Эдуард, не грустно ли и тебе, что мы не бессмертны?..

— Нет, но я думаю о том, что все вы очень худо воспользовались мудрыми уроками. С чего взяли вы сожалеть, что все непрочно, все невечно? Разве не знаете, что всякая перемена с нами должна быть к лучшему? За гробом есть жизнь, где мы будем постоянно счастливы и — бессмертны.

— Все так! Но переход к этому лучшему — ужасен! Ты ни за что разве считаешь предсмертное томление, муки, страх, призраки!.. Ах, я всегда, как только раздумаюсь об этом, хочу идти в военную службу.

— Самое лучшее место укрытия от смерти!

— Ну хоть не самое лучшее, да, по крайней мере, там смерть мгновенная: нет времени испугаться ее!

— Какой демон подсказывает вам весь этот вздор?.. Вместо, чтобы радоваться прекрасному дню, весне, свободе от учения, они с час уже воют о том, что увидели кладбище! Ну, сойдите вниз, строусы! Авось забудете о нем, когда не будете его видеть.

— Да-таки бес управляет, как вижу, нашим торжеством, потому что, видимо, портит нам все! Пришли было веселиться, начали, как и должно, похвалами природе и всем ее дарам и вдруг свели на тоску: зачем концом всего будет могила?..

— Могила да могила! Только и слышно! Сойдемте вниз, Бог с ними — с этими видами.

Некоторые из молодых людей стали было уже собирать свои припасы, чтоб последовать предложению и спуститься в долину, но Эдуард остановил их, говоря, что такое ребячество очень смешно:

— Неужели ж вы не понимаете, отчего мы разговорились о кладбищах и смерти?

— Признаюсь, не понимаю.

— И я не понимаю.

Слово «и я» повторилось многими.

— Оттого, товарищ, что нас много, и о всяком другом предмете материя точно также не скоро бы кончилась, потому что всякому хотелось бы сказать свое мнение; а как нам, между столькими красотами местоположения, неприятно бросились в глаза мрачные сосны, а под ними могильные холмы, — вот мы и начали толковать об них.

— Начали да и не можем перестать! Неужели у нас не будет сегодня другого разговора.

— Полноте, братцы! Давайте обедать; пора уже, пойдемте вдоль этого хребта... я вижу, вон там, прелестный лужок и группу деревьев; а сверх того холмик и близ него огромное дерево с дуплом, следовательно, у нас будет стол и буфет.

Завиденное ими место было в полуверсте от них; приближаясь, молодые люди увидели, что холмик был — могила. Черная чугунная доска выросла уже в землю и местами была покрыта ею. При виде этой находки студенты взглянули между собою: «Каково, господа! Только что решились не говорить о могилах, тотчас одна из них и явилась к нашим услугам! Уж воля ваша, а мы очень несчастливо выбрали и день и место для нашего гулянья; нас преследуют какие-то предзнаменования смерти».

— Полно, какой вздор! Посмотрим, что тут написано: ах, это бедный путешественник... его убило громом... вот тут год и число, когда случилось...

— Есть имя?

— Есть: Теодор Валериан Столбецкий! Двадцать лет минуло этому происшествию.

— Столбецкий... Это должен быть отец нашего товарища, Столбецкого Максимилиана. Говорят, смерть эта была ему предсказана цыганкою.

— Смерть эта могла быть ему предсказана и всякою другою также хорошо, как и цыганкою. Столбецкий верил предопределению, и потому, во всяком случае, поступал наперекор всем мерам предосторожности; вот в одном из них он заплатил жизнью за свои опасные пробы. При мне рассказывали мои родители, что он, возвращаясь из чужих краев, хотел сделать приятную нечаянность своему семейству, появясь среди них неожиданно, и для этого, приказав своим людям ехать с каретою по большой дороге, потихоньку, сам пошел горами, — вот этою тропинкою, которая вьется вдоль всего хребта их и которою более десяти верст сокращается путь к городу, против большого тракта. Столбецкий шел, надобно думать, очень занятый свиданием своим с семьею, потому что не обратил внимания на собирающуюся грозу; он мог бы легко переждать ее в ближних домиках деревни, но он продолжал свой путь и увидел тревогу стихий тогда уже, как гром загрохотал прямо над его головою; вместе с ударами грома засвистал вихрь, пустился проливной дождь; Столбецкий, увидя это дупло, поспешно спрятался в него и — более не вышел: молния ударила в дерево.

— Худо верить всему, всего беречься, но еще хуже ничему не верить и все считать вздором! Ты, Эдуард, тоже имеешь несчастье быть одним из самых отчаянных неверующих: берегись! Именно в вашу братию, всем пренебрегающих, обращено неусыпное внимание враждебного рока, вас он подстерегает.

— Ну, вот вам и пророчество! Предсказание грядущих бед нашему Эдуарду! Решено, товарищи: наша сегодняш-

няя гулянка имеет в себе что-то похоронное, — воротитесь лучше домой.

— Перестаньте, какие вы дети! — сказал с досадою Эдуард. — И зачем мы оставили свое прекрасное место? Сейчас пойдемте туда, перестаньте ребячиться.

Молодые люди опять собрали свою провизию и пошли на прежнее место, которое было гораздо выше и откуда в самом деле было видно верст на пятьдесят кругом; натурально, что на таком пространстве виднелось много сел, деревень, и при них кладбища, с могилами, крестами и со снами. Пообедав, студенты расположились беседовать на мягкой траве и тщетно хотели вести одушевленный разговор, смеяться, рассказывать забавное, — не удавалось им это; против воли тяготило их какое-то грустное чувство; приметно было по интервалам молчания, что веселость их принужденная и забавные анекдоты натянуты. В один из промежутков невольного молчания младший студент прервал его восклицанием: «Послушайте, друзья! Чем нам стараться насильно сделаться веселыми, уступим лучше влиянию наших толков о могилах, смерти, — краткости жизни и прочему печальному вздору, и вместо того, чтоб вытаскивать из памяти своей смешное, которому однако ж не смеемся, расскажемте каждый что-нибудь страшное или трагическое. Согласны?»

— Нет, рассказывать страшное надобно в приличное время, — например, в полночь, а теперь так ясно, светло, рассказы наши не достигнут своей цели; ведь знаете пословицу: «Днем черт не страшен». Забудем лучше о кладбищах и могилах — и пойдем гулять; ночью придем опять сюда, дожидаться восхода солнца, и тогда, пожалуй, для сокращения времени, будем рассказывать все случаи, в которых злые духи играют главные роли. — Это говорил Эдуард. Совету его последовали и пошли бродить по красивым перелескам, холмам, усеянными первыми весенними цветами; отыскивали снег, притаившийся в лощинках под кустами, разрывали его, разбрасывали, бросали друг в друга этою блестящею, прохладною пылью, как то дельвали десять лет тому назад; но ведь майский день долог, игры,

шалости и беготня наскучили, а солнце еще высоко, по крайней мере, час остался до его заката, молодые люди не знали, в чем провести этот час.

— Однако ж это можно счесть за чудо, что шесть молодых студентов не знают, куда девать свое время!.. Нам всегда не доставало сделать все то, что предполагали.

— Да! И тогда изобретения являлись на выбор сами собою одно за другим, а теперь сколько ни ломаем голову, не можем выдумать ничего! Что мы не взяли с собою вина? Слишком уже патриархален был наш обед; не худо бы ужину быть пороскошнее..

— И будет, — даю тебе слово; но только предупреждаю, что ты получишь вино не иначе, как в виде награды за неустрашимость.

— Разве я должен буду отбить его у кого-нибудь?

— Нет. Тебе или, пожалуй, кому другому из нас, надобно будет только пойти и взять его оттуда, где спрятано!

— Ну, так скажи где, я сейчас пойду.

— Сейчас пойти будет не диковинка; нет! Изволь отправиться в полночь.

— Да полно дурачиться, говори, где оно? Или, может быть, ты шутишь?

— Нет, не шучу, вино в самом деле есть; я знал, что нам не обойтись без него, и хотел доставить вам приятный сюрприз, взяв секретно несколько бутылок; но прежде полуночи не скажу, куда я поставил его.

— А хочешь ли, я скажу тебе, где оно?

— Хочу, скажи!

— И тогда ты отдашь его нам, не дожидаясь полуночи?

— Нет. Если это отдается на мою волю, я тверд в своем намерении. Увидим, кто осмелится пойти за ним.

— Ну, так и быть, будем ждать полночи.

— Что за глупая выдумка! А до того что мы будем делать?

— Разведем огонь и будем воображать, что мы — отряд, поставленный на пикете!

— Вот хорошо знает! Разве пикет разводит огонь?

— Да к тому ж и солнце еще не закатилось, с какой стати разводить огонь? Пожалуйста, оставь свое глупое условие и скажи теперь, где твое вино?

— Да вот как мы сделаем: ты скажи нам теперь, где вино; ведь дело в том, чтоб отправиться в полночь и вырвать его со дна какой-нибудь могилы, а может быть, из костлявых рук мертвеца; ну, так мы до полуночи успеем выпить вино и пустые бутылки отнесет тот на прежнее место, кому выпадет жребий, и тогда уже во власти всех духов подземных будет доказать ему, что значит час полночи!

— По мне эта выдумка прекрасна. Я берусь без жребия отнести бутылки назад.

— Ну, что ж, владетель нектара заповедного, согласен ли?

— Пожалуйста, товарищи, не портите моего удовольствия, пусть вино остается там, где оно теперь,

Пока месяц златорогий  
Над могилами взойдет,  
И душевной час тревоги  
Нас к вину всех повлечет!

Громкий хохот молодых людей был достойным приветом этих стихов; уступая капризу товарища, взявшего вино, они согласились ждать до полуночи.

«Встретим, — говорили они, — этот час, так издавна и так единодушно назначаемый для разгула сатаны с его причетом, встретим с бокалом в руках и бесстрашием в душе».

— Странно однако ж, что бесстрашию студентов понадобились в подмогу бокалы! Сегодня мы, в самом деле, не похожи на себя; пойдемте, для развлечения, собирать хворост и сухие палки: надобно иметь материалы для нашего полночного костра.

— До — полночного; потому что к роковым двенадцати часам мы должны напугать сами себя всеми возможными ужасами и, приготовясь таким превосходным способом, из-



брать того из нас комиссионером, кто более других покажет вероятия ко всему нелепому, и как только мой репетир возвестит, что настал парадный час сатаны, то есть полночь, — послать за вином, хотя б то было в самое жерло ада.

Студенты, посмеявшись над выдумкою Эдуарда, согласились ждать назначенного времени и разошлись в разные стороны — «собирать материалы», как они говорили, для костра. Чрез час солнце закатилось, молодые люди натаскали большую грудку прутьев, сухих пней, разных обломков и, дождавшись, когда погас и последний луч зари вечерней, развели огонь; уселись вокруг и просили Эдуарда, как старшего и вместе как изобретателя этой необыкновенной забавы, начать свой рассказ.

— Охотно, товарищи, — отвечал молодой студент, — но порядок требует начинать младшему; к тому ж, не я первый предложил рассказывать страшное, — это была мысль Владимира, а как он, кстати, и моложе, так не ему ли начинать?.. Впрочем, как хотите, если присуждаете мне, так я готов.

— Тебя, тебя! Ты старше, опытнее, более видел, слышал, узнал на деле. Начинай, мы слушаем.

Между тем как Эдуард, располагаясь начать свой рассказ, усаживается ловчее и покойнее близ яркого огня, мрак ночи сгущается от часу более; с востока надвинулись тучи, поднялся ветер, ближние деревья закачались, заскрипели; дальний лес зашумел... ветер то выл, то стонал, то свистел, то визжал, смотря по тому, мимо каких предметов пролетал.

— Думаю, друзья, — сказал Эдуард, — что теперь мы должны быть вполне довольны; все как нарочно делается по-нашему: нам хотелось окружиться страхами, погрузиться в ужасы, напиться, проникнуться ими, и вот ночь и буря готовы помогать нам: слышите ль этот вой, протяжный и жалобный? Прислушайтесь, откуда он?

— От стороны дуплистого дерева, от могилы Столбцевого. Не думаешь ли испугать этим обстоятельством? Со мной это напрасный труд, я готов хоть сейчас идти туда за нашим вином, предполагая даже, что это воет сам Столбцкий!

— О, да ты храбрец, Алексей! Не мешай, однако ж, пусть там воет кто хочет, а мы будем слушать рассказ Эдуарда!

— Не забудь только, Алексей, что ты вызвался идти за вином. Я ловлю тебя на слове.

— Да перестаньте же, вы не даете ему начать.

Наконец студенты замолчали, и Эдуард стал рассказывать.

— Прежде всего надобно вам знать, что героем моего рассказа будет Мограби...

— Твоя собака? О, это любопытно! Это вдвойне интереснее! Я ужасно люблю слушать о всем необыкновенном, где в действии собака!

— Перестань, Владимир! Будет ли конец!

— Ну, итак, Мограби, — начал Эдуард, — к великим достоинствам своим, моральным и физическим, как то: силе, красивым статьям, огромности, громовому голосу, привязанности, верности, разуму, лютости, — присоединяется еще одно, самое главное и далеко все превосходящее, именно то, что он имеет честь быть — Ярчук.

— Что это, порода?

— Нет; достоинство, способность, дар, — я, право, не знаю как назвать то страшное отличие, которым одарен мой Мограби; но знаю только, что собака, его имевшая, называется — Ярчук.

— В чем же состоит это отличие?

— В способности видеть злого духа.

— Может ли это быть!

— Видно, может, когда даже мой отец, человек образованный и вовсе не суеверный, велел было забросить маленького Мограби.

— Что ж помешало этому?

«А вот, я расскажу вам все это по порядку. Надобно знать, что степень Ярчука, или собаки-духовидца, получает только та, которая родится девятою от восьми черных сук по прямой линии, то есть надобно, чтоб восемь родоначальниц Ярчука были все черные, без малейшего пятна белого или другого какого цвета; восьмая, как только произведет на свет щенка с приметами Ярчука, то есть всего

черного и непременно одного, тотчас умирает. Сама природа, кажется, старается лишить способа жить страшного выродка; но случается, что он бывает очень хорошей породы или не знают, что он Ярчук, и таким способом он остается жить. У нас однако ж знали. Прапрашурка Мограби была прекраснейшая собака Сибирская, сильная, большая, статная; батюшка достал ее как-то по случаю, быв еще очень молодым человеком; род ее не прежде перевелся у нас, как с рождением Мограби. Желая сохранить эту породу, отец приказывал всегда оставлять одного щенка при доме, и всегда случалось так, что красоту и силу наследовала сука, ее и оставляли, таким образом дошло до восьмой, которая в свою очередь дала жизнь Мограби и — издохла от ужаса! По крайней мере так уверял дворецкий или, лучше сказать, с важным видом докладывал отцу моему. Он принес знаменитого щенка в корзинке, прямо к батюшке в кабинет, говоря: «Вот, Ваше Превосходительство, беда не миновала нас: родился Ярчук! — Геро сию минуту издохла; прикажите утопить адское отродье». Мне было тогда двенадцать лет; вид беспомощного маленького животного, которое копошилось в корзинке и искало ртом пищи, ему сродной, возбудило мою жалость; я выпросил ему поименование и вместе позволение взять себе. Несмотря на неодобрение дворецкого, батюшка позволил, хотя и сказал при этом: «Напрасно, Эдуард, лучше бы его забросить! Где тебе выкормить, у тебя он будет только мучиться». Я поспешил взять корзинку из рук дворецкого, который отдал мне ее, пожимая плечами и бормоча что-то потихоньку, молитвы или заклинания, не знаю.

Благодаря моей щедрости, Мограби был выкормлен, благополучно прозрел, стал бегать, стал сам есть молоко, хлеб, мясо и наконец совсем укрепился в силах. Я отдавал мои карманные деньги всем, кто помогал мне нянчиться с моим приобретением; это спасло его от покушений дворецкого, кучера и дворника; этих последних дворецкий чуть не привел в отчаяние, рассказывая разные черты ужасных проделок Ярчуков со злыми духами. «И такую-то собаку оставили жить, да еще и подарили ребенку! — восклицал

он горестно. — Прекрасные вещи увидим мы! Помогите, братцы, изведем проклятое отродье, пока оно еще мало, а то как вырастет, все пропало». Но деньги привлекли на мою сторону остальных людей наших, корысть была сильнее страха, к тому ж они были молоды, следовательно, не так доступны суеверию. Как бы то ни было, только щенок мой избег счастливо всех покушений на жизнь его. Хотя дворецкий получил от батюшки строгое приказание — не говорить, по какой причине хотели забросить щенка, но все-таки не мог скрыть от меня своего смешного страха, когда я приносил моего Мограби в людскую и показывал нарочно ему, говоря: «Видишь ли, Степан, какой красавец будет щеночек, а ты хотел его забросить! Погладь его, поласкай, поцелуй!» — и я приближал щенка к лицу Степана, который крестился, плевал, пятился назад и говорил: «Подите вы, сударь, с вашим черным... — он останавливался вдруг и оканчивал тихо, — ну что в нем хорошего? Полноте, сударь! Я собак не люблю».

Год спустя, когда уже Мограби вырос и сделался подобно прародительнице своей — прекрасною, огромною собакою, — мальчик, смотревший за нею, рассказал мне о том опасном даре, который получает потомок восьми черных сук: «Страшно подумать, сударь, — говорил он в один день, ставя пред Мограби его огромную чашку с кормом, — страшно подумать о том, что ваша собака — Ярчук! Никогда их, проклятых, не оставляют жить. Бог знает, что вам тогда так захотелось, а вон посмотрите на дворецкого: ведь какой был здоровый!» — «Теперь что?» — «Хиреет с каждым днем более». — «Разве и он тоже Ярчук?» — «Э! Бог с вами!.. Человек не может быть Ярчук. Дворецкому это сделалось с того дня, как он приносил к батюшке слепого Мограби, в корзинке. Он рассказывал, что как только старый барин сказал, чтоб щенка оставить живым, так он в ту же минуту и почувствовал какую-то боль около сердца, да и стал сохнуть с каждым днем больше и больше!.. Да и кроме того, во всем что-то худо, например: полгода тому назад пала любимая лошадь вашего батюшки, без всякой причины; с вечера была здорова, хорошо пила, ела, головы не

вешала, вдруг поутру нашли ее мертвою в ее отделе! Кучер говорил, что вечером, когда он выводил ее поесть, Мограби прыгал перед нею и лаял на нее». — «И будто она от этого умерла?» — «Не от чего больше, — она была здорова».

Я вспомнил тогда, что лошадь эта была, батюшкина верховая, служила ему во всех его походах, и что по этому обстоятельству отец покоил старость ее, дав ей отдел, то есть большое стойло, теплое, устланное соломою, где она ходила свободно, не на привязи; ей давали лучший корм и смотрел за нею особый кучер. Батюшка часто говорил, что он очень рад долголетию и прочному здоровью своего Фингала, что вид этого прекрасного боевого коня оживляет в памяти происшествия и случаи, драгоценные для его сердца. Надо полагать, что это была правда: часто видел, как отец, пришед поласкать своего старого товарища, вдруг переставал гладить его хребет и, оставя на нем свою руку, стоял неподвижно минут десять и всегда оканчивал эту сцену глубоким вздохом.

Хотя я думал, что лошадь батюшкина умерла просто от старости, однако ж не сказал этого мальчику, мне хотелось слышать, какие еще беды делаются от того, что Мограби — Ярчук. Мальчик начал опять: «...вот видите, сударь... только, пожалуйста, не говорите старому барину, а то меня тотчас сошлют в деревню, как только узнают, что я называю вашего Мограби тем, что он есть в самом деле. Батюшка ваш крепко-накрепко запретил, чтоб никто не смел говорить этих глупостей; ну а как утерпишь, когда знаешь такую страшную вещь! Вот видите, в этот самый год, в который родился и растет у нас ваш Ярчук, занемог дворецкий, пала верховая лошадь, посохли три яблони — самые лучшие, которые Бог знает уже с какого времени давали множество прекрасных яблок; загорелась голубятня, правда ее скоро погасили, однако ж все-таки она загорелась; оспа испортила ключницу Таничку, и теперь она из хорошенькой девочки стала такая гадкая!» — «И все от Мограби?» — «Непременно от него; около яблонь он бегал, нюхал их, терся об их пни, валялся при корнях на траве; на голубятню смотрел целый час, подняв морду кверху, по временам

подпрыгивал и лаял; а девочку лизнул в лицо, когда она играла на луту перед домом».

Рассказы моего мальчика очень нравились мне тем, что наводили на меня род какого-то тайного ужаса. Я однако ж спросил его: «Почему ж, Петруша, с тобой и со мной нет никакой беды? А ведь мы всегда уже вместе с Мограби: ты ходишь за ним, кормишь его, расчесываешь шерсть, стелешь ему постилку на день, ночью он спит со мною или на ковре у кровати или, когда поболее приласкаю его, на моей постеле; если уже ключницына Таничка от того только получила злокачественную оспу, что Мограби лизнул ей лицо, то почему ж у меня лицо и руки чисты; а уж, кажется, Мограби по целому часу лижет их, если не оттолкнуть его». — «Бог знает, сударь! Ведь и я тоже глажу и ласкаю вашу собаку, часто играю с нею, такая смышленная она! Да все-таки думаю, что ни говори, что ни делай, а как она [у]видит злого духа, то с нею и не сдобровать нам... ну-таки посудите сами, барин, что это за ужас такой: сидишь себе, ничего не думаешь, а в темном углу жметесь черт; не видишь его, так и не боишься, а Мограби видит, вот как я вижу вас! Да от этого можно сойти с ума! Можно умереть от страха!!»

На меня тоже начал находить порядочный ужас; рассказчик и забыл вопрос мой «Почему мы с ним, самые ближайшие собеседники Мограби, остаемся однако ж здоровы и невредимы», — я забыл повторить его и слушал жадно, что будет далее.— Вы спрашивали, отчего нам нет беды? Подождите еще: может быть, для нас сберегается самая большая!.. Ах, батюшка-барин! Хоть жаль вам вашего Мограби и мне тоже, а удавим его за добра-ума!» Я испугался этих слов; сожаление и привязанность к Мограби пересилили страх, возбужденный в детском разуме моем рассказами мальчика. Я позвал собаку, она спала на ковре перед постелью, но, услыша свое имя, тотчас встала, подошла ко мне и, став на задние лапы, передние и вместе голову положила ко мне на плечи. Слова досадного мальчишки — «удавимте» — щемили мне сердце, и я почти со слезами обнимал и целовал своего Мограби, забыв совершенно, что он на беду свою видит злого духа.

Мальчик, увидя, что вместо согласия на его благоразумное предложение я стал еще более ласкать страшную собаку, почесал голову с видом замешательства и сказал: «Как вам угодно, сударь: ваша собака — и ваша воля! Я для вас же говорил, по крайней мере, не введите меня в беду, — не рассказывайте батюшке того, что я вам рассказал, о Мограби». Мальчик ушел, а я долго еще ласкал моего Мограби, как будто прося у него прощения за проклятую мысль его надсмотрщика. Страх мой совершенно исчез и заменился сожалением: как умертвить столь прекрасное и верное животное!.. Несмотря на незрелость лет моих, я понял, что если подобная мысль родилась в мозгу моего прислужника, то легко может она же самая овладеть умом взрослых людей, которые найдут способ произвести ее в действие, не подвергаясь ответственности; с того дня опасение за жизнь моей собаки не давало мне покоя; я казался всегда озабоченным, невнимательным и беспрестанно бегал в свою комнату, которую хотя закрыл на замок, но и тут думал, что собственный присмотр необходим.

Беспрестанная тревога моего воображения много вредила успехам моим в науках; батюшка заметил это. «Что с тобою, Эдуард?» — спросил он меня в один день, когда я уже раз шесть выскакивал из-за книги и бегал смотреть, не разломан ли замок у двери моей и, сверх того, возвратясь на свое место, беспрестанно ощупывал ключ в кармане, как будто он мог исчезнуть из него сам собою. «Я не узнаю тебя, — продолжал батюшка, — ты стал ленив, ветрен, беспрестанно уходишь со своего места, не помнишь уроков: что это значит? Куда ты так часто отлучаешься?» Главную чертою в характере моего отца была любовь к истине; он всегда говорил, что нет порока презрительнее лжи, что лжец самое низкое существо в целом мире; итак, самый страх смерти не заставил бы меня сказать отцу неправду; я признался, что боюсь за жизнь моего Мограби, что его все дворовые люди не терпят, считают проклятою собакою и говорят, что гораздо лучше убить его, нежели держать при себе — и этим накликать беду. «А ты очень любишь его?» — «Как же, папинька, ведь вы подарили мне его; да он же

такой ласковый, на минуту не отойдет от меня и теперь, вот, в моей комнате лежит на моем платье». — «Но ведь может случиться, что он умрет сам по себе, без всякого участия наших людей, в таком случае, Эдуард, надобно иметь более твердости. Это хорошо, что ты бережешь свою собаку, но не должно переходить меру в твоём надзоре. Впрочем, успокойся, — прибавил отец, видя, что предположение о смерти Мограби заставило меня заплакать, — успокойся, я беру под свою защиту твою собаку».

Батюшка призвал дворецкого и велел ему объявить всем служителям, что если Мограби издохнет по какой бы то ни было причине, все они будут сосланы со двора и, сверх того, больно наказаны.

Эта резолюция, по-видимому, вопиющей несправедливости, была на самом деле очень справедлива, благоразумна, а всего более — успешна: теперь Мограби мог свободно ходить всюду, бегать на кухне, на дворе, за воротами, далеко на улице, не опасаясь найти и проглотить кусок мяса с запрятанною в него такую вещь, от которой мог бы он умереть; не рисковал также попасть в петлю, случайно образовавшуюся из брошенной веревки; одним словом, враждующие силы отступились от моей собаки, и я, избавясь своих опасений, опять сделался прилежен к учению и скоро вознаграждал потерянное время.

Дни, месяцы и годы шли своим чередом; я рос, вырос, собака возмужала, начала уже и стареться, но все была очень сильна и проворна; в доме у нас давно уже привыкли думать, что при мне живет сам сатана — в виде моего Мограби, и относили всю вину такого беззакония на батюшку. «Ребенок это знает, — говорили они, — а старику-то бы надобно подумать... ведь не нами ведется поверье, что девятая собака от восьми черных сук всегда уже бывает — Ярчук. Поверье это с незапамятных времен живет в народе и такого щенка никогда не оставляют в живых». Все беды, потери, болезни, смерть — все, что в продолжение восьми лет могло случиться в доме, снабженном, как должно, людьми, скотом, вещами, — все приписывалось влиянию Мограби: умирала ли семидесятилетняя старуха от продолжи-



тельной и тяжелой болезни — виноват Мограби: он перебежал ей дорогу, когда она шла на погреб; с того дня она занемогла, а то все была такая здоровая... Пала ли лошадь, которую, по преданию кучера, напоили тотчас после скорой езды, — виноват Мограби: он вчера играл с нею, когда она, вырвавшись, бегала по двору. Сгорит ли овин в которой-нибудь из деревень батюшкиных, — и тут виноват Мограби, хотя его там и не было: староста приезжал к барину с оброком, положил шапку свою в прихожей, проклятая собака схватила ее в зубы и долго скакала с нею по комнатам; возвратясь в деревню, староста пошел осматривать овины и, поправляя что-то в одном, на минуту только положил шапку свою на снопы, — в ночь овин сгорел весь дотла и не могли ничем потушить! Все и во всем винили единодушно вредное влияние собаки-духовидца. Если кто, поумнее, спрашивал, но почему ж молодой барин здоров и благополучен, ведь Мограби при нем день и ночь? ему отвечали, что конец дело венчает и что, может быть, этот конец будет таков, что и последний нищий не захочет тогда быть в коже нашего молодого барина. Я часто слышал весь этот вздор и смеялся ему от чистого сердца; впрочем, Мограби оправдывал иногда приписываемое ему свойство видеть злого духа и, как это всегда случалось вечером, то, признаюсь, что я не совсем был покоен.

В продолжение этих восьми лет, которые я провел дома в науках, три раза имел я случай заметить, что Мограби видит то, чего не вижу я. Первый раз — это было накануне какого-то семейного торжества — люди наши занимались уборкою комнат: натирали полы воском, развешивали занавесы у окон, мыли вином стекла и зеркала, работы их продолжались до полуночи. Дворецкий, посмотрев на часы, сказал, чтоб поскорее оканчивали, что уже половина двенадцатого — пора накрывать на стол. Я все это время, пока убирали в комнатах, ходил то туда, то сюда и смотрел, просто, из детского любопытства, что как делается. Мне было тогда лет тринадцать. Мограби знал, что его нигде охотно не видят и отовсюду гонят, оставался в моей комнате, изредка только выбегая ко мне поласкаться; он ста-

новился на задние лапы, передние клал мне на плечи и, не смея лизать лица моего, прижимался косматою головою к груди, вертя легонько мордою то в ту, то в другую сторону; люди в это время все умолкали, — и отворотясь, крестились, шепча что-то про себя и делая друг другу знаки, показывающие их ужас и омерзение. Мограби, поласкавшись минуты с две, уходил сам собою опять в мои комнаты; но в то мгновение, когда дворецкий сказал, что близко уже полночь, я услышал поспешные скачки и глухое рычание Мограби; в ту ж секунду явился он сам — и одним прыжком очутился близ меня; шерсть его стояла как щетина, глаза сверкали, он грозно ворчал, но в то же время дрожал и жался ко мне. Увидя эту сцену, люди помертвели от страха и, сказав, что окончат уборку завтра на рассвете, проворно разошлись по своим местам. Дворецкий, вместо того, чтобы остановить их, бежал по следам, говоря для вида только: «Куда ж вы? Пойдите, надобно кончить теперь». Менее чем в минуту комнаты опустели, я остался один с Мограби, который показывал в величайшей степени испуг и злобу.

Природа дала мне много смелости, и, сверх того, наставления батюшки вразумили меня, как безрассудно и вместе опасно верить чему-нибудь сверхъестественному; итак, я стал гладить и ласкать Мограби, чтоб успокоить, но он не переставал ворчать и жаться ко мне. «Ну что ж с тобой, Мограби? — сказал я наконец. — Что там видишь ты? Пойдем, посмотрим». Я хотел подойти к двери, ведущей в прихожую, но Мограби ухватил зубами за платье и не пускал меня. «Ну так что же, Мограби! Куда же идти!» — Он, не выпуская из зубов моего платья, тащил меня потихоньку во внутренние комнаты; я уступил, и мы с ним пришли в гостиную; я сел на диван, Мограби лег у ног моих и не переставал рычать; шерсть его все стояла щетиною. Вдруг начали бить часы одни за другими, и прежде, нежели на последних, которые стояли в зале, ударило двенадцать, — раздалась игра курантов; в ту ж самую минуту Мограби завыл дико и с оглушающим лаем бросился как молния к дверям прихожей... Они распахнулись: в сенях стоял человек огромного роста, с рыжими волосами, красными гла-

зами и страшным ртом, которого величина и форма имели в себе что-то нечеловеческое, — это был однако ж человек и очень добрый, как говорили. В доме у нас знали его несколько лет. Он был ремеслом мясник, и дворецкий наш закупал у него одного только все, что было нужно для стола, потому что кроме того, чем он торговал преимущественно, у него была дичь всякого рода и дворовые птицы. Итак, это был мясник Терентий, всегдашний наш поставщик живности; отчего ж так отчаянно лает Мограби? Отчего он так щетинится и дерет землю когтями!.. Мограби любил его прежде, ласкался к нему и очень благосклонно принимал хорошие куски, которые Терентий давал ему, «за красоту его», как он говорил. Лай и вой собаки удивили тоже и мясника. «Что с тобой, Мограб? Не узнал?» И он хотел его погладить, но Мограби зарычал таким дьяволом, что мясник с испугом отсторонился: «Вот притча какая! Что собаке-то сделалось!» Между тем на громкий и совсем необычный лай моей собаки сбежались наши люди. Мясник сказал дворецкому, что пришел сосчитаться и вместе предложить, не угодно ли взять у него весь оставший запас дичи и дворовых птиц, прекрасно сбереженных, что он уезжает на свою сторону и потому продает все, а также и собирает, кто ему должен.

Слова эти с трудом можно было расслушать, до такой степени оглушал всех нас лай моего Мограби. Тщетно я приказывал ему замолчать, тщетно тянул за ошейник, желая увести за собою, он не переставал с каким-то воем и ревом лаять и приступать, — но не к Терентию, а как будто он видел кого за ним или подле него. Дворецкий поспешил увести мужика, говоря: «Да что ж это, с нами сила крепкая! Уж не привел ли ты с собою дьявола!»

Когда они ушли, Мограби перестал лаять, но долго еще с грозным рычанием обнюхивал то место, где стоял мясник, и шерсть его все еще не прилегала.

На другой день, когда я пришел к батюшке, — пожелать доброго утра, — вошел его камердинер, старик лет шестидесяти; батюшка очень любил его, и в уважение долголетней службы и неизменного усердия, позволял ему гово-

рить себе — и даже подавать советы, нисколько не оскорбляясь, если они были неуместны или высказаны грубо. Итак, старый Трофим рассказал батюшке вчерашнее происшествие, удивившее и до смерти напугавшее всех наших служителей; сверх того, несмотря на мое присутствие, он позволил себе сказать, что прозакладует свою душу, если мясник вчера не приводил с собою черта, иначе отчего б Мограби так бесновался! На строгий взгляд отца моего отвечал: «Ну что ж, батюшка-барин, простите мне, старику, что скажу правду: ведь рано ли, поздно ли молодому барину надобно же узнать, что за собака такая у него; он же, слава Богу, на возрасте; так уж позвольте высказать все, что вчера случилось». Батюшка пожал только плечами и приказал мне идти в свою комнату. Я повиновался, и хотя какой-то гибельно-торжественный тон Трофимова голоса сильно подстрекал мое любопытство, — не остановился однако ж ни на минуту — дослушать, что он будет говорить, и отошел уже довольно далеко вдоль коридора, как вдруг батюшка вскрикнул: «Подожди! Ах, Боже мой!» — Голос его показался мне встревоженным: я было воротился, но в эту самую минуту отец поспешно вышел и, торопливо застегивая сюртук, говорил: «Проворнее привезть мне экипаж какой попадется, я поеду узнать сам!» Батюшка сбегал с крыльца, бросился в наемный экипаж и усакал.

После я узнал, что мясник Терентий в эту самую ночь, в которую приходил к нам, убил богатого мещанина, к которому тоже приехал за долгом, забрал все его деньги и на рассвете совсем было уже выехал из города, только на заставе повстречался с ним один из его товарищей, который был ему должен какую-то малость, — он остановил Терентия, чтоб отдать ему деньги, в это время подошел к ним один из караульных солдат, так просто, из любопытства; Терентий спешил положить в карман отданные ему деньги и хотел уже ехать, как солдат, смеясь, остановил его, схватя за руку: «Постой, постой, брат; не торопись так! Это что за кровь у тебя на правой поле твоего азяма? ...а? Говори-ка, убил что ли кого?» Говоря это, солдат и не думал об убийстве; он знал ремесло Терентия, то кровавое пятно на пла-

тье подобного человека была вещь обыкновенная, и солдат, оконча свою шутку, пустил было уже крестьянина ехать; но товарищ остановил: «Извини, брат Терентий, а только ты не путем побледнел; на тебе лица нет; гляди, служивый, как он дрожит... чуть ли ты не отгадал,— сказал он тихонько солдату,— останови его!»

Несчастливого остановили, и он, не дожидаясь допроса, в ту ж минуту признался. В показании своем пред судом он объявил, что мысль убить богатого мещанина и овладеть его деньгами пришла ему утром того дня, в который он приходил к нам, что она не давала ему покоя, мучила его, что он долго боролся с нею и что наконец необычайная ярость нашей собаки, до того всегда ласковой, перепугала его насмерть. «Мне казалось, — говорил он, — что она духом слышит, какое злое дело у меня на уме; особенно, когда дворецкий генеральский спросил меня — не привел ли я с собою дьявола, — то я минуты с две думал — побегу я в церковь просить защиты Божией от наваждения нечистого! Если б я это сделал, не жгла б теперь кровь человечья души моей!.. Я не пошел, куда звал меня святой хранитель мой, и деньги богатого мещанина снова заблестели и зазвенели пред глазами моими». Терентий как милости просил воздать ему поскорее должное за пролитую кровь, — и получилось. После этого происшествия, хотя в доме у нас не могли еще более утвердиться в мнении, что Мограби видит злого духа, все были уверены в этом как в собственном своем существовании, но только стали тщательнее убегать всякой встречи с моею собакою. Если видели, что она играет во дворе, сейчас женщины выбегали стремглав, хватали проворно детей своих на руки, уносили и запирали их у себя в избе. Мужчины, проходя мимо, отворачивались, крестились, плевали и дули в ту сторону, где была собака; но если она делала хоть малейшее движение подойти к кому-нибудь из них, в ту же минуту летел в нее или камень или ком жесткой земли; впрочем, бедный Мограби так был уверен во всеобщем недоброжелательстве к нему наших людей, что очень редко уступал желанию выбежать пока-

таться на траве или полежать на солнце и всегда выходил только со мною.

Мне минуло пятнадцать лет с половиною; еще полгода осталось жить дома, заниматься науками, по прошествии этого срока я должен был вступить в университет для окончательного усовершенствования в моих познаниях; для этого отец мой назначал четыре года, по окончании которых хотел отправить меня на столько же в чужие края. В эти-то полгода Мограби дал еще раз несомненное доказательство своего страшного отличия.

На одном бале батюшка познакомился с молодым бароном Рейнгоф. Высокая образованность, обширный ум, большие сведения, приятная наружность и сверх всего этого какая-то дикость, какая-то грустная нелюдимость, проявляющаяся во всех приемах и словах молодого барона, делали его особою очень замечательною, — и чрезвычайно заинтересовали отца моего: он пригласил его к себе.

На рассвете я вынужден уже был побить Мограби; всю ночь промучился я с ним, не было возможности заснуть с самого возврата батюшки с бала. Как только подъехала карета и послышались шаги отца моего на лестнице, Мограби зачал глухо рычать. У меня всегда всю ночь горела лампада, при свете я увидел, что глаза Мограби сверкают как угли, и что он беспокойно мечется на своем ковре; я погрозил ему: «Лежать, Мограби!.. Вот я тебе!» — Он взглянул на меня, тихо завизжал, подполз вплоть к кровати и так ужасно завыл, что я в испуге вскочил с постели. Мограби тотчас пошел к дверям и хотя не переставал рычать, но в движениях его было как будто что-то печальное; он шел тихо, повесив голову и опустив хвост; я отворил ему дверь, и он проворно побежал по лестнице, нюхал ступеньки, ворчал, шерсть начала щетиниться; когда он дошел до дверей залы, то опять начал выть. Испугавшись, что это обеспокоит батюшку, я оттащил Мограби за ошейник и то ласками, то угрозами принудил воротиться на место; но он не переставал рычать и по временам выть, что наконец и вывело меня из терпения: я ударил его раз шесть плетью; бедная собака с тихим стоном приползла к ногам моим, ли-

зала их, и прекрасные глаза ее были полны слез! При виде этом, я сам готов был плакать. Утро прошло без тревоги; Мограби молчал, но все его движения показывали внутреннее беспокойство; он не мог долго оставаться на одном месте и не дотронулся до своей утренней порции супу с хлебом. Перед тем, как идти к батюшке на половину, я хотел помириться с Мограби,— мне жаль было смотреть на его унылость... Я приписывал ее тому, что побил его; итак, я подозвал его к себе, долго гладил, целовал и наконец указал ему, чтоб он лег на мою постель. Он повиновался. Я поднес ему его тарелку с супом, но он спрятал морду в подушку и тяжело вздохнул. Предоставя времени утешить скорбь моего чувствительного Мограби, я пошел к батюшке. Отец только что встал; он всегда был очень нежен ко мне; когда я поцеловал его руку, то он приблизил меня к себе, несколько раз поцеловал меня, долго трепал и гладил мои щеки, потом, прижав к груди своей, еще раз поцеловал меня в лоб, сказал, что сегодня обедает у нас барон Рейнгоф, очень занимательный молодой человек, и приказал идти в свою комнату.

Сожаление, испуг и удивление овладели мною, когда я увидел, что сделалось с бедным Мограби при моем приходе. Он кинулся с постели, со стоном подполз под нее, прижался к самому углу и так жалобно и непрерывно выл, что я готов уже был бежать вон не только из комнаты, но из дому даже. С большим трудом и угрозами достиг я, наконец, того, что собака перестала выть; но она осталась под кроватью и всякий раз, как я взглядывал туда, видел, что она дрожала.

В четыре часа человек пришел одевать меня к обеду. Как только туалет мой кончился и мальчик вышел, Мограби с радостным визгом выскочил из своего убежища, прыгал мне на грудь, лизал руки, скакал по комнате, валялся, перевертывался на ковре, бегал как сумасшедший из угла в угол и опять кидался ко мне, — одним словом, Мограби был чему-то рад до иступления! Я крепко задумался о такой странности и очень боялся, чтоб все эти необычайные перемены не кончились бешенством, но как я чрезвычай-

но любил свою собаку, то и решился до последней крайности не сообщать своих опасений никому. Наконец, Мограби, устав прыгать, побежал к своей тарелке с супом и очень аппетитно съел все, что в ней было; после этого он лег у ног моих, положив на них свою голову; по временам он поднимал ее и смотрел на меня с каким-то необычайным выражением. Вы знаете мою собаку все и верно помните, что у нее прекрасные большие глаза: в этих глазах тогда было столько чувства, столько речей, столько сожаления обо мне, что я даже теперь не нахожу слов передать вам моих тогдашних ощущений, знаю только, что страх был не последним из них. Пробыло пять часов, а как мы обедали всегда в половине шестого, то обыкновенно в пять часов все уже сходились в залу. Я встал, чтоб идти к батюшке; но как Мограби, не трогаясь, лежал головою на моих ногах, то я, подняв его морду обеими руками и перекидывая ее шутя из стороны в сторону, сказал: «Ну, что разнежился, Мограби!.. Прощай, поди ляг на мою постель». И только что хотел уже отворить дверь своей комнаты, раздался гром подкатившегося к подъезду экипажа. Полагая основательно, что это приехал новый батюшкин знакомец — барон Рейнгоф, я спешил выйти; но Мограби стонал уже у ног моих и держал зубами за платье так крепко, что я не иначе мог заставить его пустить меня, как употребля жестокость, от которой у меня целый день болело сердце.

Я был тогда слишком молод, чтоб уметь оценить достоинства и обширность познаний молодого Рейнгофа. Все, что показалось мне особенно замечательным в нем, — это пасмурность его вида, бледность лица, выражение страдания на всей физиономии и глубокая задумчивость, которой он временем предавался, несмотря на любезность своего обращения и занимательность разговора.

Батюшке очень нравился обычай высылать людей за десертом, — и он завел его у себя. Когда мы остались одни, разговор сделался свободнее и откровеннее, барон рассказывал о своих путешествиях, о разных случаях, о животных — необычайных свойств, наконец дошла речь и до собак; об них барон рассказывал чудеса невероятные. «Ну, в



этом отношении, любезный барон, — сказал батюшка смеючись, — мы с Эдуардом у вас в долгу не останемся; у нас тоже есть диковинка в этом роде, и я думаю, превзойдет все вами рассказанное. Где твой Мограби, Эдуард?» Я сказал, что оставил его в своей комнате. «Вот изволите видеть, — продолжал батюшка в том же шутовском тоне, — у сына моего есть собака, одаренная от природы завидною способностью, которая, впрочем, ни к чему более не служит, как только кусает всех наших людей и до того подвергла собственную жизнь свою непрерывной опасности, что даже я должен был вступить в это дело... Да, кстати, Эдуард, что значит вой и гнев твоего Мограби, когда я вчера приехал домой? Я сам не слышал, но мне сказал Трофим, что Мограби бегал по ступенькам лестницы, нюхал их, драл когтями и рычал над ними — как дикий вол! Я, кажется, не был в сообществе с тем, кого он имеет честь всегда видеть, чего ж он так всхлопотался? Надобно вам знать, барон, что собака Эдуардова — Ярчук: то есть потомок какого-то заветного числа сук, черных с ног до головы, и отличительное преимущество его пред другими состоит в способности видеть злого духа».

Барон, слушавший батюшку с тою вежливою улыбкою, которая приличествовала его шутовскому рассказу, при последних словах страшно изменился в лице и затрепетал как лист. Удивленный этим отец мой замолчал; барону сделалось очень дурно, встали поспешно из-за стола, батюшка велел было скакать за доктором, но барон едва слышным голосом просил, чтоб его отвезли поскорее домой.

«Это мой всегдашний припадок, — говорил он прерывающимся голосом, — он проходит сам собою, но мне нужно уединение».

Барон уехал. Происшествие это скоро забылось. Дня три мой Мограби бегал по парадной лестнице, злился, ворчал, рычал и наконец все эти проделки увенчал тем, что изорвал в куски оба мои платья: то, в котором я был у отца поутру — в день баронова приезда — и то, в котором обедал с ним. После этих двух подвигов он успокоился и сделался опять, как был, доброю, послушною собакою.

Настало время отправляться в университет. Это было не слишком далеко от наших поместий и, сверх того, одна из наших деревень батюшки была на половине дороги между обоими городами. Это обстоятельство потому обратило на себя мое внимание, что я хотел отдать тут моего Мограби под присмотр управителю. Дома не было никакой возможности оставить его. Хотя батюшка жестоко наказал бы за какой-нибудь бесчеловечный поступок с несчастным Мограби, но ведь это не возвратило бы ему жизни. Итак, когда все уже было готово к дороге, я сказал отцу, что возьму с собою свою собаку до деревни и там оставлю у управителя. «Для чего ж оставлять, ты можешь взять его с собою туда же, куда едешь сам». Я вскрикнул от радости и кинулся целовать руки отца: «Батюшка, мой добрый батюшка! Как много я вам обязан за это позволение!» Мограби, до сего грустно жавшийся к ногам моим, точно как будто понял слова батюшки: он закричал, завизжал радостно и с размаху вскочил в коляску, где не переставал лаять, пока я не сел туда же.

Благодаря нежному вниманию доброго отца моего, я имел прекрасное и просторное помещение у его приятеля, профессора Доктринского. Вы все помните вступление мое в ваш круг. В три года, которые мы провели вместе, ничего такого не случилось, что бы напомнило мне о великом значении моего Мограби между его собачьим родом; и я, предаваясь попеременно то наукам, то шалостям, то головоломным занятиям, то студенческим подвигам, совсем забыл о нем. Впрочем, не одно это было причиною, что вы никогда не слыхали от меня анекдота о рождении Ярчука. Батюшка, между многими советами и наставлениями, не считал лишним слегка упомянуть, что басню о Мограби надобно оставить в совершенном забвении.

Теперь я перейду прямо к тому времени, когда отправился путешествовать. Не буду описывать вам ничего, чем я в продолжение пути моего пленялся, восхищался, чему дивился, скажу только, что меня радовало все и что я от всего был в восторге; красоты природы, красоты искусства, красоты людей, все так льнуло к сердцу моему, так сильно

потрясало его! О, я был полон жизни,— ясной, светлой, радужной жизни!»

— Ну, одним словом, ты жил и чувствовал как девятнадцатилетний студент, с полным кошельком золота и на собственной воле!

«Почти так; впрочем, воспоминание советов отца сопровождало меня всюду и думаю, что от этого именно красоты природы более всяких других красот влекли к себе мое сердце; в них было все величественно и непорочно, им мог я посвятить себя неукоризненно.

Итак, сообразно господствующему вкусу моему, я проводил все праздное время бродя по долам, горам, стремнинам, в минуты отдохновения я срисовывал лучшие виды, и коллекция моих пейзажей увеличивалась с каждым днем; я каждый день ее просматривал и поправлял, располагая по возвращении подарить отцу.

Всего более очаровывал меня вид Богемских гор и лесов. На возвратном пути я решился пройти всю эту сторону пешком в сопровождении одного только Мограби, который, несмотря на то, что ему минуло уже десять лет, был еще силен, бодр и неутомим точно так же, как и в первые годы своей юности...»

— Отчего ж теперь собака твоя с трудом двигается с места? Ведь этому немного времени прошло, как ты возвратился из путешествия...

«Все узнаете в свое время, — не прерывайте. Я отправился в товариществе Мограби; о свойстве же его — видеть то, чего никто не видит, я совсем забыл, потому что с последнего случая он ничем не напомнил о нем. Мне оставалось еще четыре месяца до срока, назначенного отцом, чтоб возвратиться домой. И это было лучшее время года; весна только что началась; прекраснейшее время в году было в полном моем распоряжении, — я мог употребить его как хочу: мог путешествовать, мог и прожить все на одном месте.

Два месяца уже прошли в моих уединенных скитаниях по картинной Богемии, я вставал вместе с зарею, взбирался на самую высокую гору из бесчисленного их множества и в немом восторге смотрел на великолепный восход солн-

ца! Неизъяснимо-прекрасное появление царя природы! Как все тогда дышит радостью, жизнью, счастьем! Как все свежо, ароматно, все блестит, все прельщает! Луга усыпаны бриллиантами, лес золотится! Река пылает огнями и разливается золотом!.. А когда настает жаркий полдень, тогда лес потемнеет как ночь, луга расстелятся бархатом, река глубокою тканью, тьмы цветов ярким, пестрым ковром, тогда... тогда я чувствовал, что разум смертного не может изобрести выражений, чтоб передать словом ощущения сердца! Что для красот природы нет сравнений и нет слов описать их, — нам остаются только чувства — предвкушение райских наград, обещанных добрым... Хотя эти четыре месяца пролетели для меня как четыре дня, но тем не менее оставили впечатления и воспоминания — вековые! Они живут в душе моей, — я помню их, люблю, думаю об них! И любимейшая мечта моя для будущего — прожить там то время жизни, которое природа назначает нам отдохновением, то есть провесть там твою старость».

— Ну, уж есть о чем заботиться, где и как прожить, когда будешь стариком! Юность дело другое, — для нее и необходимо и свойственно все прекрасное, она им наслаждается, чувствует ему цену. А в старости что уже? Все равно где лежать, смотреть и дышать! Ведь только эти удовольствия остаются нам в старости...

— Ты, как вижу, разумеешь старость лет в полтораста, — нет, за такую много благодарен!.. Я полагаю, что в семьдесят лет можно уже отдыхать от всех подвигов, хороших и дурных, подъятых для блага и вреда; и также очень можно еще чувствовать выгоды прекрасного климата, любоваться картинными видами и радоваться восходу яркого солнца над темными лесами и высокими горами Богемии!

— Постой-ка, Эдуард!.. Слышишь?.. Какой досадный ветер! — Так воет, что ничего не расслушаешь!.. Вот опять... Неужели вы не слышите?

Молодые люди стали прислушиваться, и, когда порывы ветра утихали на секунду, им казалось, что кто-то стонет в той стороне, где была могила Столбецкого и — их вино!.. Однако ж стон этот слышался так слабо и так неявственно,

что легко мог быть одним только действием воображения. Послушав несколько времени и не имея ни малейшей охоты идти удостовериться, точно ли это стонет существо с костями и плотью, просили Эдуарда продолжать, а он тоже в свою очередь просил их не прерывать его более никакими замечаниями: «Потому, друзья, — прибавил он, вынув часы и показывая им, — вот уже одиннадцатого половина, а рассказ еще долог, — вам немного останется времени».

— Тем лучше, тем лучше! Рассказывай вплоть до двенадцати. Ведь мы, право, ничего не знаем; нам нечего рассказывать страшного, разве только то, что слышали в детстве от нянек.

— Со мной хоть и был один случай, но рассказ об нем кончится в две минуты, потому что и все происшествие длилось не более десяти секунд, — а впрочем, оно точно сверхъестественно.

Это говорил Алексей, младший из студентов. Приметно было, что ему очень хотелось рассказать свой страх. Эдуард это заметил:

— Ну, если тебе довольно двух минут для описания какого-нибудь ужасного случая, так мы все охотно даем этот срок, начинай, слушаем.

«Хотя мне было тогда, как это случилось, не более тринадцати лет, однако ж клянусь вам, друзья, что виденное мною отнюдь не было действием незрелого детского воображения. За этим строго наблюдали, чтоб нам никто не рассказывал ничего вздорного насчет привидений, злых духов и многого другого, о чем так любят толковать в девичьих и передних; к тому ж я от природы ничего не боялся и ничему не верил. В один день, часов около осьми вечера, я только что кончил свои уроки и сам не знаю от чего был в каком-то сумасбродно-веселом расположении духа; я играл на флажолете, пел, прыгал, смеялся, мучал маленькую собачку, приставляя ей к уху флейту. Наконец в половине десятого, уставши дурачиться и дудить над ухом бедной твари, которой страдания возбудили укоры моей совести, я бросил флейту на постель, приласкал собачку, погасил сам лампу и приготовился идти в залу, где сидели мой отец,

мать и несколько человек гостей. Из комнаты моей мог я пройти в залу двумя путями, чрез коридор и чрез спальню матери. Я предпочел последний как ближайший. И вот очень беззаботно и еще напевая какую-то песню, отворил дверь в спальню... Сначала удивление было одно чувство, которое овладело мною при виде того, что мне представилось: мать моя, которой голос доходил до меня из залы, была однако ж здесь передо мною, в своей спальне. На ней был белый пенуар, волосы разбросаны по плечам, взгляд, устремленный на меня, печален и нежен; она казалась сидящею на креслах, которых однако ж не было видно и к неопisanному изумлению моему сперва и смертному испугу после, — носилась по комнате как облако, не касаясь пола! Видение это продолжалось несколько секунд, — и вдруг исчезло; тогда я, вскрикнув пронзительно, опрометью бросился в залу. Ко мне уже бежали навстречу и первая, кого я увидел, была мать моя, одетая по бальному, с прилично-убранною головою. (Она ехала на вечер.) «Что ты, Алеша! Бог с тобою! Что такое? Отчего ты кричишь?»

Беспокойство матушки, ее тревожные расспросы заставили меня употребить всю силу воли, чтоб управиться с собою; я понял, если скажу, что видел ее призраком, то до смерти перепугаю. Итак, победа внутренний ужас свой и усиливаясь рассмеяться, я просил, целуя руки ее, простить мне мое дурачество: «Виноват, милая маменька! Я не думал, что вы услышите, мне хотелось испугать старую Катерину, она с час уже сидит в девичьей и дремлет над чулком; простите же меня, моя добрая маменька». Матушка побранила меня слегка за глупую шутку над старою женщиною и, сказав, что один раз навсегда запрещает мне пугать кого б то ни было, — уехала на бал.

С того дня я не смел оставаться один в своей комнате: вечером смежность ее с матушкиною спальнею наводила мне ужас. Отец иногда спрашивал: «Для чего ты не сидишь в своей комнате? Что тебе вздумалось заниматься в зале? Ведь тут мешают». Я отговаривался, что мне то жарко, то холодно, то голова разболелась от того, что душно. Так прошло несколько месяцев, и я стал было забывать о необык-

новенном явлении, даже вопреки свидетельству собственных глаз готов был счесть это мечтою; но горестное событие снова утвердило меня в том, что дух матери моей точно являлся мне в призраке. Ровно через год мать моя умерла и точно в тот самый час, в который за год перед этим пронеслась облаком чрез свою спальню. За минуту до смерти я снова увидел ее в белом пеньюаре, бледную, светлые волосы ее от томления смерти разметались по плечам и изголовью; печальный, нежный взор ее остановился на мне! — одним словом, я увидел на деле то, что год назад предвещало мне появление призрака и теперь, когда я слышу кого с насмешкой утверждающего, что все призраки, привидения, наваждения нечистой силы, предостережения доброго духа, предчувствия, — что все это плод нашего расстроенного воображения, или густоты крови, или раздражительности нерв, но что на самом деле ничего нет, и ничто не выходит из обыкновенного порядка вещей... когда я слышу все это, то невольно переношусь мыслю к моему тринадцатому году — к тому вечеру, когда я так явственно видел тень или призрак матери моей, плавно пролетевший по комнате, и никто на свете не уверит меня, чтоб это было от расстроенного воображения. Нет, я видел ее точно, и воображение мое не могло быть расстроено потому, что я был дитя и в ту минуту ни о чем подобном не думал».

Рассказ Алексея навел какую-то грусть на молодых людей... они примолкли; в то же время, как нарочно, утих и ветер, и настала глубокая тишина... вдруг тонкий, протяжный, жалобный вой раздался опять в той стороне, где была могила Столбецкого. Студенты беспокойно взглянулись между собою: они заметили, что Эдуард побледнел; это их удивило, — молодой человек слыл за самого неустрашимого, неверующего. Однако ж им было не до того, чтоб посмеяться над ним.

— Нет ли здесь волков, — спросил Алексей, помолчав с минуту после того, как послышался вой, — говорят, когда волчица мучится родами, то воет очень жалобно.

— Не думаю, чтоб здесь водились волки, а, впрочем, пусть их водится сколько угодно, у нас есть огонь. Ну что

ж, Эдуард, продолжай свой рассказ или не хочешь ли для отдохновения послушать, что случилось с моим дядею, гусарским полковником Термопильским? На эту быль тоже двух минут довольно. Кстати, дай посмотреть, долго ли рассказывал Алексей? — Эдуард молча подал часы студенту. — Пять минут! Ну! Да мне столько же, — тебе еще много останется на окончание походов твоего Мограби. Итак, слушайте, я начинаю.

«Полковник Термопильский был храбрейшее, честнейшее и добрейшее существо в мире, к этому еще видный и красивый мужчина. Женщины смотрели на него очень ласково, усмехались ему очень мило и льнули к нему как железо к магниту; они охотно вышли б за него, если можно было выйти всем; но как этого не водится, то дядя мой и выбрал одну, не самую прекрасную, не самую богатую, не лучше всех воспитанную, нельзя было сказать об ней «умна как Соломон», — но это была, однако ж, очень-очень милостивая блондиночка, на которую охотно засматривались. Говорила она всегда просто, но увлекательно, от сердца, и потому беседы с нею искали, жаждали! К большей похвале ее надобно еще прибавить, что ее находили чересчур уже несловоохотною и говорили, что, имея такой превосходный дар слова, грех так коротко объяснять свои мысли и так продолжительно молчать, как то делала пригожая полковница Термопильская. В талантах ее тоже не примечалось ничего слишком блестящего: она порядочно играла на фортепьяно, так что ее можно было слушать столько, сколько бы она ни захотела играть. Пела, голос ее вызывал многое, очень многое из времен былых и представлял очам души ее слушателей. Рисовала она довольно изрядно и, сверх того, кисть ее давала выражение кротости и доброты всем лицам, что было очень кстати, если она изображала женщин, детей, отшельников; но если ей случалось — так, из шалости, представить шайку разбойников, то их добродушные и даже благочестивые лица были причиною великих недоразумений: не могли понять, для чего все эти добродетельные люди так страшно оделись!



Такова была моя почтенная тетушка в двадцать лет от роду; но если она, ни в чем не уступая другим женщинам, ни в чем также и не превосходила относительно красоты, ума и воспитания, зато уже был пункт, в котором она господствовала над ними — как царица! Пункт этот был — капризы! Ни одна еще дочь Евы не имела их в таком множестве и разнообразии... Полковник нес крест свой с терпением, потому что — как все храбрые люди — считал женщину творением слишком слабым для того, чтобы усмирять ее строгостью и, сверх того, любил жену свою, как любят люди с добрым сердцем, искренно, нежно и — покорно. Пользуясь этим, тетка моя, уже Бог знает, чего не делала,— и одна из ее проделок стоила дяде моему продолжительных угрызений совести и позднего сожаления.

У полковника была сестра, девица средних лет, довольно не дурна собою, но до нестерпимости добродушная. Я не знаю, друзья, понимаете ли вы, что значит быть «нестерпимо добродушным»? Но я имел случай видеть таких людей и быть несколько времени с ними вместе. Поверите ли, что самый злой и бешеный человек гораздо их сноснее!.. Какого-то непостижимого, проклятого свойства эта доброта! Представьте, что люди таким образом добродушные, смеются так невинно, сладко-гадко-вяло! Так долго держат рот открытым, так медленно и постепенно закрывают его; смотрят на вас по четыре часа [к]ряду, не сводя глаз, и во все это время вы читаете в них, что они отдают во власть вашу всю свою пресную душу, которую, разумеется, всякий готов оттолкнуть от себя руками и ногами! Никогда и ничем вы их не рассердите; всегда они худо слышат, не скоро поймут сказанное, а если поймут наконец, тотчас радостно усмехнутся, хотя б сказанное вами состояло в том, что с отца их содрали кожу!.. Усмехаются же всегда так, что при виде их усмешки нападет на вас или тоска или зевота.

Полковник любил сестру свою, сколько природа дала ему способности любить,— то есть, более всего! Они росли вместе, играли, плакали, смеялись, были счастливы и несчастливы — все вместе. Полковник в детстве был вспыль-

чив и взбаламошен, сестра переносила от него, молча и усмехаясь, толчки, щипки, рывки, дерганье за волосы, — и разве очень уж больно доставалось ей, тогда только слезы навертывались на ее кошачьи, бессмысленные глазки, и тогда повеса-брат целовал ее руки, ноги, становился перед нею на колени, просил прощения и в ту же минуту получал его в сопровождении этой усмешки, о которой он говорил в глаза ей, что если б овца или осел могли усмехаться, то они усмехались бы точно так, как его сестра. Иногда он по приказанию родителей прослушивал уроки ее: тогда негодный мальчик, спрашивая по географической карте и видя, что она не вдруг может показать, где такая-то или другая река, брал бедняжку за волосы и, водя ее голову по карте, приговаривал: «Вот Сена! Вот Двина! А вот здесь Днепр!»

Наконец дети сделались взрослыми людьми. Дядя мой женился, сестра его, не желая расстаться с ним, решила не выходить замуж — и отказывала женихам, которых, надобно правду сказать, привлекало одно приданое, потому что добродушный вид ее отталкивал всякого, кто не имел нужды искать жены с приданым. Бедная тетка моя для одного только брата своего была существом чувствующим, а для остального мира — она жила настоящею устрицею, однако ж усмехающеся.

Менее чем в два месяца молодая жена дяди моего возненавидела от всей души безответную, улыбающуюся золовку свою. «Для имени Божия, — говорила она мужу, — выдай замуж сестру». — «Она не хочет». — «Отдели ее, пусть она живет особливо». — «Но что она тебе сделала?» — «Ничего. Но если ты хочешь видеть меня покойною и даже здоровою, то избавь меня от своей сестры». — «Как я предложу ей это перемещение!.. Под каким предлогом! У нас много комнат... что скажу ей!.. За что выгоню! Не боишься ты Бога, милая! Что сделала тебе бедная дева!» — «Ничего, повторяю; но я [у] бегу из дома, если она в нем останется».

Нечего делать, надобно было уступить. Дядя стал убеждать сестру выйти замуж и когда после многократных представлений, что это: закон природы; в порядке вещей; так

водится; к чему напрашиваться на название старой девы, когда есть столько случаев избавиться его? — медленно и с расстановкою отвечала наконец: «Но я хочу жить с тобою! Я люблю только тебя!.. Мне довольно любви родственной... на что мне муж?.. Я не хочу замуж». Дядя вынужден был объяснить ей семейное несчастье их. Он сделал это, прижимая ее к сердцу и проливая слезы; ожидал выдержать сцену плача и упреков, но сверх его чаяния и даже к некоторой досаде, ничего этого не случилось. Тетушка выслушала о неодолимом отвращении к ней невестки с тою же неподвижностью души и вялою улыбкою, с какими выслушивала все ей рассказываемое. Помолчав с четверть часа, она отвечала покойно: «Ну, если твоя Розалия так меня не любит, то я, пожалуй, буду жить особлибо... у меня есть свой капитал». Более в этот день она не сказала ничего. На другой день послала нанять дом и тотчас переехала. Брат проводил ее в новое жилище и много плакал; но она, улыбаясь, просила его не считать этого обстоятельства так[им] горестным. «Все равно, любезный брат, где я ни живу, лишь бы ты мог приходить ко мне, — приходи чаще».

Долго было бы описывать разные случаи и жизнь брата и сестры в разных домах. Мне надобно спешить к развязке: срок пяти минут, я думаю, уже минул, итак, скажу вам только, что капризная жена дяди все еще не успокоилась, хотя и выжила золовку из дома. Ей мучительно было встретиться с нею на улице или в каком-нибудь общественном месте; с нею делалась истерика, если она знала, что муж ее поехал к сестре своей; одним словом, миловидной госпоже Термопильской как верховного блага хотелось, чтобы бедная улыбающаяся тетка моя или умерла, — что было бы, разумеется, гораздо лучше и короче, или бы уже вышла замуж хоть в Индию за кого-нибудь, но только чтобы не дышала одним воздухом с нею. Отвращение ее к этой несчастной было род болезни. Она до того преследовала мужа своего насмешками насчет его сестры и упреками в привязанности к существу, не стоящему названия человека, что этому доброму супругу начало казаться, что жена его права, что вечно улыбающаяся сестрица в самом деле

наводит тоску всякому, кто посмотрит на нее лишнюю минуту. Таково, видно, сердце человеческое, что посредством постоянного гонения какого-нибудь предмета можно уверить его, что предмет этот заслуживает быть гонимым. Дядя стал реже видаться с сестрою; когда приезжал к ней, говорил мало, холодно, спешил уехать. Случалось даже, что выведенный из терпения вялостью разговора, неизменяемою улыбкою и беспрестанно-устремленными на него глазами моей тетки, позволял себе язвительно смеяться над состоянием старых дев и всегда оканчивал вопросом: «Что ей за охота умножать собою число их?» Усмеющаяся горемыка почувствовала горечь смерти в душе своей, увидя, что брат, неограниченно ею любимый, начал отдаляться от нее; полагая, что он непременно хочет видеть ее замужем, решилась принести эту жертву его капризу: она отдала руку первому, кто представился. К восторгу дядиной жены, это был какой-то искатель богатства, который тотчас после свадьбы уехал с женою и ее приданым — в Индию.

Когда уже моря, степи, — неизмеримое пространство отделили друг от друга брата и сестру, тогда дядя мой сказал вечное прости и своему душевному спокойствию. Все насмешки, которыми он преследовал бедную Эрнестину свою, сделались теперь острее кинжала — и обратились на его сердце. Это самая усмешка, которая наводила на него тоску, представлялась его воображению — и выжимала горькие слезы.

Год приходил к окончанию, считая от того дня, в который Эрнестина в последний раз улыбнулась своему брату, говоря сквозь слезы: «До свидания, милый брат!» Дядя начал беспокоиться, что не получает никакого известия от нее, но он не сообщал этого жене, которая чрезвычайно не любила, если муж начинал говорить о своей сестре. «Перестань ради Бога, охота тебе вызывать ее перед моею памятью!» — вот что отвечала она всякий раз, когда дядя говорил, вздыхая: «Бедная моя Эрнестина! Где-то она теперь?»

Вечером того дня, в который исполнился ровно год отъезду Эрнестины с мужем, дядя мой сидел один в спальне; ему было что-то грустнее обыкновенного, он отыскал

старую карту, по которой учил сестру свою географии... ему казалось, что он опять видит перед собою это глупенькое добренькое личико, эти рыжеватые кудри, за которые он когда-то брал так небрежно, говоря: «Вот Сена», и крупные слезы его невольно капали на все эти места на ландкарте... Наконец горесть его дошла до высочайшей степени! Желая на просторе выплакать свое сердце, он встал, запер двери и, возвратясь опять на свое место, рыдал уже вволю над старою картою, покрывая ее поцелуями и говоря прерывающимся от плача голосом: «Эрнестина моя! Сестра моя милая! Где ты теперь?... В какую страну света загнал я тебя — бесчеловечно?..» Вдруг дядя мой затрепетал... Ключ повернулся сам собою в замке, пружина щелкнула — и дверь тихо отворилась; не сомневаясь, что пришла жена, полковник бросил карту под стол и встал, чтоб встретить ее по обыкновению ласками и поцелуями, но кто опишет его радость, изумление и испуг... пред ним стояла Эрнестина! Она была бледна и дрожала... дядя бросился к ней: «Эрнестина! Сестра моя! Милая моя сестра!.. Боже мой! Ты ли это? Как ты здесь очутилась? Когда приехала? Для чего не писала? Зачем пришла ко мне?.. Ну, если жена тебя увидит!..»

Странность этих вопросов показывала и любовь его к сестре и боязнь огорчить капризную жену. Между тем, Эрнестина подошла к постеле и легла на нее, говоря, как и прежде, медленно, с расстановкою, но только уже без усмешки: «Я погреюсь у тебя, брат; мне холодно, я очень озябла!» Полковник испугался: «Боже мой! Эрнестина, что ты делаешь? Ради Бога встань, жена сию минуту придет, она же больна после родов, принимает ванну и вот сейчас будет здесь... сделай милость, встань!»

«Ну хорошо, я пойду. — Эрнестина встала. — Я выпросилась к тебе проститься, ведь я вчера умерла в Калькуте; прощай же, брат!.. Ужасно как мне холодно!» — С этим словом Эрнестина исчезла, а дядя упал без чувств.

Когда здоровье его несколько поправилось после жестокой горячки, бывшей следствием визита мертвеца, дяде отдали письмо от мужа покойницы, в котором тот уведомлял его о смерти жены своей».

— Ну, что ж, вы еще слушаете?.. Я уже все кончил. Но что с тобою, Эдуард? Неужели ты скорее всех нас уступил влиянию полночного часа? Да при том же он еще не настал. Ну, полно прикидываться трусом, не обманешь; рассказывай лучше, — ты остановился на мысли переселиться в Богемию, когда тебе минет сто лет, — лучшая пора наслаждаться жизнью.

Эдуард, сильно чем-то встревоженный, старался однако ж победить это беспокойное ощущение. Он начал опять свое повествование и, увлекаясь постепенно воспоминаниями, интересностью происшествий, забыл наконец о предмете своего беспокойства и рассказывал уже с силою тех чувств, какие возбуждались в нем по мере припоминания необычайных случаев.

«Два месяца уже блуждал я по живописной Богемии и, как сказано, взбирался на крутизны, спускался в стремнины, купался в быстрых источниках, прятался в темную глубь густых лесов, отдыхал, рисовал, опять ходил, опять купался, опять отдыхал, — одним словом, всякий день одно и то же. Мограби сопровождал меня всюду. С силою и легкостью избегал он на горы и перескакивал широкие рвы; бросался в источники едва ли не с большим удовольствием, нежели я сам, выгонял зайцев, настигал их, перегонял, но никогда не трогал; это редкая черта в моем Мограби, — и за нее я еще более любил его. Никогда эта сильная, почти исполинская собака не терзала слабого животного.

В один день красота мест завлекла меня далее обыкновенного. Они так удачно были расположены природою, что закрывали одно другое. Когда я всходил на холм, покрытый цветами, то с него усматривал прекрасный, светлый ручей, журчащий, шумящий, скачущий каскадом... Я бежал к нему — и вдоль его течения открывалась долина прелестнее Темпейской! Сбегал туда: по ней разбросаны рощицы, перелески, один другого милее, свежее, тернистее... довольно того, что я, как очарованный, увлекался все далее, далее, — и наконец зашел в такие места, где кроме леса, простиравшегося во все стороны до самых краев горизонта, ничего не было. Исчезли цветы, холмы, ручьи; по-

ляны, нет ничего! Один суровый, грозный лес стоит безмолвно и неподвижно; ни одна ветка не колыхнется, ни один листок не вздрогнет; густота и обширность его таковы, что никакой ветер не может туда проникнуть. Пусть ураган ревет и воет вокруг его, — в середине слабый лист не шевельнется!

Солнце еще не закатилось; но в лесу уже ночь, да еще какая ночь... темная, черная, как густейший мрак! Я залез на высокое дерево, чтоб увидеть, нет ли какой возможности выбраться отсюда до наступления ночи? Нет ли где дороги или хоть хижины какой, где б я мог взять проводника. Влезши до такой высоты, что верхи деревьев обширного леса представились мне необъятною кочковатою пашнею, я увидел их золотящимися последними лучами солнца. Итак, оно не совсем еще закатилось... Это несколько ободрило меня, однако ж я также видел, что лес не имеет конца ни в которую сторону; в середине его было несколько полей; одна из них показалась мне довольно большою долиною и хотя не освещалась солнцем, но все была гораздо светлее других мест; на середине ее виднелось мне что-то вроде хижин или стогов сена, — рассмотреть было нельзя. Долина находилась более чем в версте расстоянием от места, где я был. Решаясь пройти туда, я заметил внимательно, в каком направлении держаться, слез с дерева, позвал Мограби — и отправился в путь.

Более по счастью, нежели по соображению, выбрался я на долину. Она была очень обширна, покрыта высокою травою, которая, казалось, никогда не знала косы и не гнулась под ногою человека. Свет погасающего дня был еще столько ясен на этом пространстве, что я мог отличать цветы от травы; но нигде не видал ни дороги, ни тропинки. Несмотря на это, я хотел перейти ее всю к противоположному краю леса и только что раздвинул траву, которая доставала мне почти до груди, как почувствовал, что меня что-то держит за платье. Полагая, что я зацепился им за что как-нибудь, оборачиваюсь и вижу, что это Мограби; он ухватил зубами край моего сюртука, дрожал, щетинился, сверкал глазами, начинал ворчать, одним словом, сцена

свидания с сатаною возобновилась опять, и должно признаться, что не могло уже быть хуже места для этого — как то, где мы были! Дремучий лес, ночь и Мограби — товарищ!.. Не хочу запираяться — я испугался; потом горько сожалел, что так безрассудно заходил в глубь леса и от всей души желал, чтоб Мограби был в это время за тысячу верст от меня. Но на беду, чего б я ни желал, а Мограби вплоть близ меня, ворчит, держит за платье, трясется, жметя ко мне — и я готов был одуреть от ужаса!

Минут с пять был я рабом этого чувства; наконец рассудок взял верх, я погрозил Мограби и пошел вперед, но собака все держала меня за платье и тащилась за мною; это наконец рассердило меня, я грозно крикнул: «Пусти, Мограби! Сию минуту пусти!» Он выпустил из зубов мое платье и шел по следам, опуствя голову; по временам слышалось, что он воет потихоньку; оглянувшись раза два, я видел, что шерсть его все еще стоит щетиною и что он дрожит всем телом.

По мере того, как я подвигался к середине долины, трава становилась ниже, и я наконец увидел то, что с высоты дерева почел хижинами или стогами сена: это были широкие, низкие кусты, посаженные или сами по себе выросшие так, что между ними образовался саженой на полтора-раста во все стороны совершенно круглый луг. Желая войти в эту природную ограду, я направил туда шаги мои. Мограби начал стонать, однако ж следовал за мною; но когда я дошел до кустов, служивших каймою круглому лугу, Мограби завыл во весь голос, ухватил платье зубами, уперся ногами в землю и так сильно держал меня, что я не мог сделать шагу вперед. В эту самую минуту вышел из-за кустов человек, в котором я, несмотря на темноту, тотчас узнал барона Рейнгофа. Пять или шесть лет нисколько его не переменили: та же бледность, та же пасмурность, суровость, грусть; он не постарел, не потолстел, не подурнел, — одним словом, Рейнгоф, которого я видел шесть лет тому назад, был опять передо мною.

Мы в одно время заметили друг друга, и я тотчас увидел, что барон тоже увидел меня: он шел ко мне с таким



видом, с каким подходят только к знакомому, что показалось мне очень удивительным, потому что для мальчика, каким я был в то время, когда мы виделись, шесть лет значат много, — я необходимо должен был перемениться.

Видя, что барон идет ко мне, я хотел сократить ему половину дороги и пошел было навстречу, но Мограби готов был разорвать мое платье, а не выпустил его изо рта, и при этом он так жалобно визжал, что я, не имея духа ударить его, не знал что уже и делать. Барон заметил странность моего положения и, не доходя шагов сорок, остановился: «Мне, кажется, что я имею удовольствие видеть сына генерала Р\*\*\*\*? Если не ошибаюсь в этом, то мне очень приятно будет возобновить наше знакомство».

Ударив с досадою своего Мограби, который чуть не уронил меня, таща за платье, я поспешил отвечать барону, что за честь поставлю быть у него, если он, как надобно полагать, живет где-нибудь в окрестностях. Барон сказал, что замок его в одной миле расстоянием от места, где мы теперь находимся, назвал мне свое жилище и сказал, что завтра будет ждать меня к завтраку. Рейнгоф вежливо поклонился мне и пошел на противоположный конец долины.

По мере, как барон отдалялся, Мограби утихал, но все не выпускал платья моего из зубов и не давал идти вперед; надобно было бы употребить жестокость, чтоб заставить его уступить; на это я не мог решиться, но как надобно же было что-нибудь делать, то я и позволил Мограби распорядиться моею дорогою. Не слыша от меня угроз и не видя более сопротивления, он радостно замахал хвостом и пошел, все держа в зубах мое платье, обратно в лес. Я дал ему волю. Часа три шли мы с ним то лесом дремучим, то оврагом глубоким, то вдоль источников шумящих, и во все это время Мограби ни на секунду не выпускал моего платья, за что я был ему от души благодарен, потому что ночь была темна до того, что я и на пять шагов не мог ничего видеть перед собою; к довершению занимательности моего положения, мне слышался вой волков в отдалении, я мысленно призывал защиту всемогущего; но Мограби был, надобно думать, очень уверен в себе, потому что не показывал ни

малейшего знака робости или тревоги, весело шел рядом со мною. Наконец, мы выбрались на дорогу, ведущую к хижинам, разбросанным то там, то сям в ущельях, это была та деревушка, в которой я жил уже с месяц. Мограби залаял от радости и выпустил наконец из зубов мое платье, начал прыгать мне на грудь, бегать вокруг, кататься по траве... Признаюсь, что и я, прибавив шагу, сделал тоже несколько скачков, — не шутка ведь избавиться мрачного леса, компании волков и ночной беседы с Рейнгофом, при виде которого Мограби выходил из себя от ужаса и злости.

На другой день, расспрося у жителей, в которой стороне дом барона, я отправился к нему в десять часов утра. Бедный Мограби был очень удивлен, когда вместо того, чтобы взять его с собою, я строго приказал ему лечь на мой походный ковер у постели: он в ту же минуту повиновался, следя меня глазами, в которых рисовалась печаль и блистали слезы. Мне стало жаль, я воротился, чтоб прласкать, и, взяв в обе руки его огромную голову, прижал ее к себе: «Ну, полно же, Мограби, будь умен, не скучай, тебе нельзя идти со мной». На мой привет и совет собака отвечала тем, что лизала мои руки и тяжело вздыхала. Наконец я ушел.

Пришед в селение, на краю которого был небольшой и непышный, но довольно красивый замок Рейнгофа, я удивился дикости, бедности и запущению, в каком находились жилища его крестьян. Это были лачуги, лишенные всякого удобства и построенные наскоро, как казалось, для временного проживания каких-нибудь звероловцев. Странно, думал я, чтоб там, где живет сам владетель, была такая бедность у его подданных, — он же так богат!

Барон ждал уже меня; прием его был искренен и ласков, но вместе как будто торжествен; вид его показывал какую-то печальную решимость. Он скоро сократил обычные приветствия, и тогда-то не было границ моему изумлению; слова его то наводили на меня ужас, то внушали сожаление! Были минуты, в которые я не сомневался, что слышу сумасшедшего, но скоро я оставлял эту мысль и, уступая впечатлению, которое невольно производит на нас физиономия, полная ума и чувства, взор, то горящий ог-

нем страсти, то отуманенный силою бедствий и несчастья, я мог только дивиться и сожалеть о его беспримерном злополучии.

«Вы, может быть, удивились вчера, любезный Эдуард, что я узнал вас, несмотря на шесть лет разлуки и на то, что я увидел вас в такое время дня, в которое простительно не узнать и коротко знакомого человека, с которым расстались только вчера: тогда была уже почти ночь, и без обстоятельства, памятного мне по отношению его к моему бедствию, я не узнал бы вас: вы совсем уже не то, что были; но я узнал по вашей собаке».

«Как! По Мограби? Невозможно, барон, вы никогда не видели его».

«Правда. Но помните ли, что когда я обедал у вас и батюшка ваш рассказал мне, каким отличием одарена ваша собака, мне сделалось дурно и меня отвезли домой?»

«Помню. Я тогда думал, думаю и теперь, что это был просто припадок. Вы же и сами говорили, что подвержены ему и что он проходит без дурных последствий, разве это было не так?»

«Не так. Тогда мне нельзя было иначе сказать; но с того дня я почти уверился в несомненности моего ужасного бедствия. Вчерашняя встреча утвердила меня в этой уверенности, и теперь я скажу вам, что если свойства вашей собаки не сказка, не выдумка простого народа, если точно может существовать подобное животное, то несчастье мое верно!.. и могу ли я еще сомневаться! Не слышал ли я вчера, как она выла, заслышав только мое присутствие? Не видел ли, как усиливалась не пустить вас ко мне? Как горели глаза ее ужасом и яростию! Ах! Точно она видит то, что сопутствует мне всюду! Что я ношу с собою в сердце в глубине души моей! Она видит это! О, верх отчаяния! И мне не остается последней отрады — тени сомнения!..» — Барон побледнел как мертвый, он закрыл лицо руками и оставался в этом положении минуты две. Я не смел прервать молчания и душевно сожалел о нем. Несмотря однако ж на сострадание, какое барон внушал мне, страх начинал холодить кровь мою: Рейнгоф слишком ясно давал понять,

что он или добыча злого духа, или в невольном сношении с ним.

Когда терзания сердца его несколько утихли, барон взглянул на меня и, видно, заметя, что рассказ его наводит мне боязнь, сказал: «Не страшитесь меня, любезный Эдуард! Я ни в чем не виноват, лютое несчастье само привязалось ко мне; но оно не распространяется ни на кого, близкого мне по родству или знакомству».

Во взоре барона было столько кротости и добродушия, что я оставил свои неосновательные опасения и снова начал думать, что разум его должен быть поврежден.

«Я расскажу вам причину моего несчастья, любезный Эдуард, и потребую от вас услуги; не опасайтесь, чтоб она превышала вашу возможность, нет сомнения, что вы неустрашимы, а мне только это одно и нужно».

Поспешив уверить барона, что он может располагать мною в этом отношении с неограниченною волею, я прибавил, что за честь себе почту употребить для его пользы свое оружие. Нисколько не сомневаясь, что именно этого рода услуга нужна была барону, — я в ту же секунду должен был покраснеть от своей грубой ошибки.

«Что до оружия, любезный Эдуард, то Рейнгофы всегда владели им как должно сами. Нет, говоря о неустрашимости, я разумел силу душевную; помощь ваша нужна мне в такое время и в таком месте, что очень многие в вашем возрасте, а особливо, зная обстоятельства, отказали б мне в ней. А что я требую ее не от кого другого, но именно от вас, так это потому, что только вы одни властны оказать ее... одним словом, мне будет нужна ваша собака».

Мною снова овладело искушение — счесть барона сумасшедшим. Я смотрел на него с недоумением. Он как будто отгадал мою мысль: «Я забываю, что все эти намеки и полудоверенности могут заставить вас думать обо мне Бог знает что! Итак, чтоб сделать все ясным для вас, я расскажу, как обещал, причину того состояния, в котором вы меня видите и которое заставляет меня решиться на испытание посредством вашей собаки.

Не буду вам рассказывать о том, что я принадлежу к древней и богатой фамилии Рейнгофов, что я получил воспитание, приличное этим двум преимуществам, что занимаю высокую степень в моем отечестве, — все это не может вас много интересовать, и все это вещи очень обыкновенные и нисколько не выходящие из круга должных условий жизни; итак, я перейду прямо к тому, что отравляет дни мои, — к происшествию, давшему мне новую жизнь, озарившему душу мою очаровательным светом неземного счастья, сожегшему сердце мое огнем лютейшего угрызения!.. Ах, мне стоит только перевестись мыслию к этому происшествию, чтоб снова прийти в отчаяние!.. Не могу я говорить о нем, не проклиная час рождения моего и вместе не сожалея, для чего оно не продолжалось вечно!..»

Барон готов был предаться иступлению. Я просил его успокоиться и отложить рассказ свой до другого дня.

«Я проживу здесь все остальное время до возврата моего в дом и буду у вас, барон, всякий день; вы успеете рассказать мне свое горе, когда более овладеете собою и соберетесь с мыслями».

«Я должен рассказать вам мою историю сегодня, любезный Эдуард, потому что завтра вы будете иметь снисхождение употребить в дело вашу собаку. Завтра день или лучше сказать час, который нельзя пропустить. Но я точно не в состоянии говорить; я напишу вам все то, что бы должен был рассказать. Вы этот день весь проведете у меня; теперь только половина двенадцатого, я обедаю в шесть. До того времени я займусь описанием, а вы погуляйте по окрестностям; но преимущественнее осмотрите вот эту сторону, — барон указал к стороне леса. — Она дика, но и восхитительно-прекрасна! Это та долина, на которой мы вчера встретились и где нам еще придется быть. Заметьте ее хорошенько, Эдуард; не оставляйте без внимания ни одного куста, ни одного места. Вы можете беспрепятственно пройти ее всю; теперь мешать некому, собаки вашей нет с вами. Простите, ожидаю в шесть часов к обеду».

Барон ушел в свой кабинет — и я вздохнул свободно. «Боже мой, что за человек! Нельзя, чтобы он был в полном

уме! Однако ж он говорит очень рассудительно, пока не дойдет до какого-то происшествия и до Мограби,— тут он сейчас выходит из себя... и на что ему моя собака? Куда мы пойдем с нею? И этому путешествию надобно быть завтра! О, бедный мой Мограби, сколько мук предстоит тебе!»

Рассуждая так сам с собою, я шел к той стороне леса, которую барон советовал мне рассмотреть и заметить все до последнего куста. Верстах в трех от деревни начинается густой лес; дикость этого места удивила меня: так близко от жилья и такая совершенная одичалость во всем! Между дерев росла высокая трава, нигде нисколько не помятая; ни на деревьях, ни на кустарниках нет признака топора; птицы летают смело, только что не задевают головы моей крыльями; я ожидал даже, что которая-нибудь сядет на меня как на движущийся пень... Все показывает: что я первый человек, который зашел сюда; по крайности я вправе так думать, видя, что нет ни на чем никаких примет прикосновения людского. Я углублялся далее в лес, разнимая ветви и выпутывая ноги из травы, которая обвивала их. «Однако ж подобная прогулка утомила меня в четверть часа, — думал я, — что за цель была барону послать меня сюда? И как я сам смешон, что слушаюсь помешанного человека. Очевидно, что барон не в полном уме! Не знаю, что за комедию готовится он разыгрывать с моим Мограби!»

Между тем я все шел далее и наконец увидел на одной небольшой поляне длинную полосу прилегшей травы, как будто кто прошел по ней давно; полоса эта уходила в лес и там постепенно исчезала. Я пошел этим путем, и когда он пропал совсем, тогда я увидел сквозь деревья ту самую обширную долину, на которой был вчера вечером и, несмотря, что теперь зашел совсем с другой стороны, я тотчас узнал ее. Это было прекраснейшее место на шаре земном! Какой-то необычайно красивый цвет зеленой травы и бесчисленное множество цветов делали долину эту чем-то таким, для чего я не находил сравнения. Я опять увидел те кусты, близ которых встретил барона. Необыкновенное размещение их сколько удивляло, столько и пленяло меня. Они как будто нарочно рассажены были на самой середине

не широкого луга и симметрически расположены венком. Подошед вплоть, я увидел, что круг этот занимал очень большое пространство и что середина его заросла какими-то травами, которых я никогда нигде не видал прежде. Запах этих растений был сладостно ароматен и, сверх того, по мере, как я вдыхал его в себя, чувствовал, что он живит мои силы, дает мыслям какую-то игривость, род упоения; радость, нега наполняли сердце мое. Я вошел в средину круга, и ощущения мои сделались таковы, что я отдал бы половину жизни, только чтоб другую мог провести тут. «Что за райское место! — восклицал я в восторге. — Возможно ли, что такой эдем оставлен в запустении!.. Однако ж барон знает об нем, ходит сюда; удивляюсь, как горесть его не обратится в восторженную радость на этом восхитительном месте!»

Продолжая услаждаться дивным ароматом трав, мне неизвестным, я ходил от одного куста к другому, рассматривал их роскошные ветви, блестящие листья и очаровательную зелень; все они разрослись очень густо и широко, и хотя касались один другого ветвями, однако ж круг от этого не казался сплошным; видно было, что каждый куст стоит отдельно от другого и что между ними легко можно проходить, раздвинув несколько сучья.

Я, может быть, остался б тут до ночи, забыв не только, что барон ждет меня обедать, но даже и о том, что он существует, если б он сам не появился в конце долины, у выхода из леса; он махал мне платком, и я волею или неволею должен был расстаться с прелестным кругом.

«Благодарны ль вы мне, любезный Эдуард, что я познакомил вас с этим местом?»

«Я в восхищении, барон! Кому принадлежит оно? Почему оставлено без присмотра? Отчего оно так запущено, так дико?»

«Скажите лучше «так свежо, так прекрасно!» Впрочем, это место проклятое! Оно отдано злым духам и хотя принадлежит мне, но они настоящие его обладатели. Это обстоятельство причиною, что люди знают это место только понаслышке; но никогда никто не решается проникнуть сю-

да даже среди ясного полудня. Если ж кого случай заводит в эту долину ночью, тот или сходит с ума, или на другой же день умирает; несколько таких случаев заставили жителей отступить совершенно от этих мест и оставить лес и долину зарастать и заваливаться валежником.

Первые слова барона заставили меня взглянуть с изумлением в глаза ему: я был уверен, что прочту в них сумасшествие; но взоры его печально устремлялись в землю, и он говорил покойно тем меланхолическим голосом, который от беспрестанной грусти сделался его природным. Не зная, что заключить из всего этого, я решился слушать не прерывая; но когда услышал, что всякий человек, заходивший случайно в проклятую долину ночью, на другой день умирал или сходил с ума, — невольно воскликнул: «Не может быть, барон! Вы и я были в этой долине, однако ж мы живы и, надеюсь, что рассудок наш при нас». Мне казалось, что я справедливее выразился бы, если б сказал, что рассудок мой при мне. Барон отвечал на мое возражение, что несчастья эти случались всегда с простым народом, столь слепо верующим власти злых духов и нисколько не сомневающимся в их существовании; сверх того, они были в проклятой долине в самую ночь полнолуния, — время, в которое сходятся сюда злые духи.

Я потерял охоту говорить и, не сомневаясь более, что хозяин мой помешан, шел молча до самой деревни. Барон тоже не говорил ни слова.

Угощение, сделанное мне Рейнгофом, было превосходно; но как изящество стола его не играет никакой роли в главном происшествии, исключая разве того, что редкие вина его действовали на меня так же, как и волшебный аромат растений в проклятой долине. Разум мой и воображение дошли до совершенного упоения, и барон показался мне не только что сумасшедшим, но напротив, я открывал в нем ум высокий, идеи обширные, великие и такую точку зрения, до которой я, как мне тогда казалось, никогда б не имел силы возвыситься; итак, не описывая вам ни количества блюд, ни богатства баронова стола, скажу только, что я начинал верить, что барон может быть предметом



преследования злого духа, как существо совершеннейшее и ясно постигшее цель земного странствия нашего. Ну, одним словом, к концу стола я верил всему сказанному мне бароном, и сам уже напомнил ему об письме, в котором он хотел объяснить мне важный случай в его жизни.

Рейнгоф, в продолжение всего обеда пивший одну только воду, задумчиво усмехнулся нетерпению.

«Исповедь моя готова, после обеда я отдам ее вам. Но я желал бы, любезный Эдуард, чтоб вы не слишком торопились делать ваши заключения обо мне. Дождитесь конца всего этого, а то вы, как я замечаю, очень легко уступаете всякому впечатлению: когда мы возвращались из леса, я читал в глазах ваших сомнение, в полном ли я рассудке; теперь мне кажется, что вы как будто благоговееете пред теми бедными познаниями, которые я, в продолжение нашей застольной беседы, имел случай высказать. Все это излишество, старайтесь смотреть на вещи, как бы они не казались вам необыкновенными, глазами холодного рассудка, тогда только вы будете видеть их в настоящем свете... Вы, может быть, думаете теперь, что я сам гораздо более имею нужды в этих наставлениях, нежели кто другой — и вы совершенно правы... Но горе мне, любезный Эдуард! Советы, полезные другим, для меня уже ничто; могу ль я руководствоваться ими в противовес свидетельству моих глаз!»

После обеда барон отдал мне небольшую тетрадку: «Прочтите это дома, любезный Эдуард, и если после всего, что вы узнаете, желание ваше — помочь мне в испытании — не охладится и не пройдет совсем, то я ожидаю вас в двенадцатом часу ночи; но только вам надобно, не заходя ко мне, пройти прямо в проклятую долину и скрыться в одном из кустов, составляющих крут по середине ее. Я буду там же».

«Но как же я найду дорогу ночью, барон? Ведь к этому месту нет никакой тропинки».

«И не нужно никакой, — ступайте прямо через лес; как бы вы ни шли, все выйдете на проклятую долину. Впрочем, можете прийти туда заранее, тотчас по закате солнца. Тогда еще довольно светло».

«А вместе разве не могли б мы идти? Вам эти места хорошо известны».

Я уже и сам не знаю, для чего сделал этот вопрос барону, потому что очень хорошо знал причину, по которой он не приглашал меня идти вместе: Мограби решительно не пошел бы с ним, и даже могло случиться какое-нибудь несчастье от тех отчаянных усилий, с какими собака моя не допускала меня приблизиться к барону, а как именно она нужна была для нашего полуночного опыта, то и должно было, чтоб я один шел с нею. Рейнгоф, кажется, тоже отгадал, что я спросил его без мыслей, — он ничего не отвечал на это и только сказал, что мне надобно быть на месте прежде его, то есть в три четверти двенадцатого, а он придет минут за пять до полных двенадцати часов. «В случае же, любезный Эдуард, если чтение моих листов наведет на вас какое сомнение — не то, чтоб вы устрашились, но, может быть, вы сочтете противным совести вашей — вмешаться в дело столь несообразное с обязанностями человека... благочестивого, — тогда прошу меня уведомить, чтоб я уже знал заранее, что вас нет на условном месте». Я уверил барона честным словом, что какие б ни были мои чувства по прочтении его листков, я буду непременно в назначенное время ждать его в очарованном круте.

Мы расстались. Я горел нетерпением читать листы, которые были у меня в руках; но как солнце уже закатилось и было темно, то я поневоле должен был умерить свое любопытство, пока приду домой.

Описывать встречу, сделанную мне Мограби, значило бы повторять, что было уже сказано. Я не имел от него покоя, пока не скинул платья, которое поспешил спрятать в шкаф и запереть комнату, где он стоял, потому что Мограби покушался грызть его зубами; письма баронова тоже не мог читать покойно от его рычания, воя и беганья из угла в угол. У хозяина на доме, где я жил, было что-то вроде голубятни, без голубей только; там он спал в жаркие летние ночи; я забрался туда, оставя своего Мограби на просторе — делать приступы к двери комнаты, в которой заперто было мое платье.

Наконец я один, на свободе, вне преследований Мограби; не слышу его воя, не вижу яростных глаз, ни стоящей шерсти. Бесовские испарения баронова манускрипта проносятся выше и не поражают тонкого чутья его; хозяин на эту ночь ушел спать к соседу, отдав мне в полное распоряжение свою голубятню, и вот я расстилаю на мягком душистом сене свой дорожный ковер, кладу в головы огромную сафьянную подушку, ставлю на небольшую скамейку две восковые свечи, тоже в дорожных подсвечниках...»

— Постой, постой Эдуард! Ты ведь путешествовал пешком, один; как же все эти вещи были с тобою? Неужели ты навьючивал их на себя?

— Какой вздор!.. Разумеется, что я пересылал их вперед, — было для чего перерывать.

Эдуард хотел продолжать, но как ветер, дувший все с одинакою силою, в эту минуту притих опять, то молодым людям снова послышался стон, и все от могилы Столбецкого. Они взглянулись между собою, и физиономии их не выражали большого мужества; нельзя было того же сказать об Эдуарде; но казалось, что он обеспокоен этим обстоятельством более других. Однако ж стон был так слаб и так неясственен, что его легко можно было счесть мечтою воображения, и при новых порывах ветра он исчез совершенно. Не слыша более ничего, Эдуард и его товарищи перестали им заниматься. Они подбавили хворосту, сучьев, — огонь запылал ярко; взглянули на часы: половина двенадцатого. «Ах, слава Богу, еще полчаса, — и отправимся за вином».

— Не лучше ль, отправляемся за вином? — сказал вполголоса Алексей, — я что-то ничего доброго не ожидаю от баронова манускрипта.

Слов его не расслушали и просили Эдуарда продолжать.

«Распорядясь своей постелью как мог покойнее и удобнее и — надобно уже в этом признаться, — ограда себя крепким знаменiem, я лег, придвинул к себе свечи, развернул манускрипт и начал читать... По мере, как я подвигался вперед в этом занятии, любопытство и страх мой воз-

растали. Мало было прочитать один раз, — я продолжал перечитывать его до рассвета и не прежде заснул, как уже вытвердив его так, что мог пересказать, не ошибаясь ни в одном слове. Хотите слышать манускрипт барона или начать с того места, как мы уже с ним расстались совсем?»

— О! Манускрипт, манускрипт! Ведь это должно быть самое главное, самое любопытное и самое страшное из твоего рассказа.

«Итак, слушайте... вот что писал барон».

### МАНУСКРИПТ РЕЙНГОФА

«До двадцати пяти лет моего возраста жизнь моя проходила как и всякого другого знатного и богатого молодого человека. Я получил блестящее воспитание, имел огромную сумму денег для моих удовольствий и еще несравненно большую для своего содержания; я долго путешествовал и наконец, после всего, что необходимо было для моего усовершенствования, возвратился на родину, чтоб вступить во владение своих имуществ: родители мои, по преклонности лет своих, желали провести остальные дни в уединении и богоугодных занятиях. Они оба пошли в монастырь, это никогда не воспрещается, если обе стороны согласны, и отдали мне все имение без всякого условия, даже не включая тут и женитьбы.

Сделавшись владельцем богатых земель, я жил почти всегда в Праге или в тех из своих замков, которые находились в соседстве нашей столицы. Но эта часть имения, к которой приковало меня неслыханное злополучие, тогда была мне почти неизвестна. Отец и мать мои не только что никогда не жили здесь, но даже никогда и не приезжали, чтоб хоть взглянуть, что — как делается в селении. Сторона эта, как вы могли заметить, дико-лесиста, мало населена; ничто не привлекало сюда владельца и я, может быть, никогда — так же как и мои родители — не вздумал бы посетить ее, если б тьмочисленность жизненных благ, нераз-

лучных с несметным богатством, не притупила моего вкуса ко всему. Слишком рано и слишком безусловно достались они мне; дух и мое тело не вынесли массы наслаждений, их придавившей; я сделался скучен, слаб здоровьем, все мне казалось ничтожным, пошлым, ничто не радовало, не удивляло, все было уже так старо для меня. Я досадовал на то, что не мог ничего пожелать без того, чтоб оно сию ж минуту не явилось передо мною. Первые красавицы не допускали взору моему секунды остановиться на их прелестях, не встретя его тотчас же или милою улыбкою, или ярким румянцем радости, или даже взглядом полным страсти; и в самом деле, мог ли бедный-богатый Рейнгоф взглянуть на прекрасную женщину, не вызвав против себя целого легиона разнородных кокетств ее?.. Я стал убежать их и до такой степени потерял способность чувствовать цену прекрасного, что для меня совершенно равно было — смотреть на восьмидесятилетнюю старуху, дурную как смертный грех, или на юную красавицу, только что расцветшую; еще первая казалась мне сноснее: по крайней мере старость ее была порукою, что она не имела видов на меня.

Наконец я потерял всякое терпение, потому что чем я становился мрачнее и нелюднее, тем более ухаживали за мною. Все, что было прекраснейшего в столице и окрестностях ее, поставило себе целью — возвратить радость сердцу богатого Рейнгофа, заставить его снова расцвести юношескою душою, и всякая ожидала этого чуда от своих прелестей... Это вынудило меня бежать!.. Старания их заставляли меня стыдиться самого себя... я ничего не чувствовал к ним, кроме отвращения! Испугавшись и устыдясь столь недостойного ощущения, я решил ехать снова путешествовать и хотел начать тем, чтоб осмотреть эту часть нашей Богемии, где никогда еще не был и, кстати, заехать в свое поместье.

Мне минуло тогда двадцать пять лет, и я, несмотря на многочисленные любовные связи, никогда еще истинно не любил. Не знаю, как объяснить вам странность моего вида, — но только я носил в душе своей идеал женской красоты, которую очень легко принять за безобразие. Я любил до безумия смуглый цвет лица, синие белки глаз и темно-

красные губы... где ж мог я найти подобные совершенства?.. В сонме красавиц высокого круга не было и тени этого. Образ, созданный моим воображением, жил в душе моей с возраста, в который я начал понимать себя, точно как будто он родился со мною. Иногда желая осуществить черты, всегда присутственные мыслям моим, я передавал их бумаге или полотну, и всегда это был портрет какого-то демона, довольно красивого и, разумеется, женского рода. Мать моя спрашивала иногда у меня шутя: «Что ты так пристрастился рисовать чертовок? Да и все они похожи, одна на другую...» Один раз она сказала батюшке, показывая ему нескольких моих любимиц: «Посмотри, друг мой, вот Готфридовы красавицы; он все только их и рисует; всмотришься хорошенько, не припомнишь ли их черт?» Батюшка, пересмотрев рисунки и подумав с минуту, сказал, что видал где-то похожую, но не помнит где именно. «В моей спальне, — отвечала матушка, — ...помнишь картину, изображавшую цыганский табор? Она висела над кроватью. В числе женских фигур была одна девочка, лет четырнадцати по виду. Лицо ее мне чрезвычайно нравилось, хотя оно, как видишь, довольно-таки страшно, или лучше сказать, дико-прекрасно. Я сматривала часа по два кряду на это лицо, не спуская глаз, и так привыкла к нему, что даже в обществах, на гуляньях, в театре, в концертах думала об нем; и как бы поздно не возвратилась домой, всегда уже посвящала четверть часа на то, чтоб полюбоваться чертовскою красотой молодой цыганки. Тогда я была беременна Готфридом и как теперь помню, что он вострепнулся в первый раз именно в ту минуту, когда я в каком-то порыве страсти воскликнула: «Что есть такого в этом лице, что я не могу перестать смотреть на него? Существуют ли в мире эти черты, которыми я не могу довольно налюбоваться, нарадоваться!» С рождением Готфрида странная привязанность эта миновалась; но, видно, она сделала впечатление на ребенка, потому что, вот видишь, какие верные списки делает он с лица моей цыганочки».

«Где ж эта картина?..» — «Признаюсь тебе, друг мой, что когда после рождения Готфрида пристрастие мое минова-

лось, картина стала наводить мне страх; я что-то боялась смотреть на нее и когда случалось взглянуть, то всякий раз казалось мне, что цыганская девочка делает знаки глазами и кивает головою; впоследствии я стала видеть ее каждую ночь во сне, но так страшно и так правдоподобно, что я наконец не в силах была победить своего ужаса и бросила картину в огонь».

«И это лучшее место из твоего рассказа, друг мой», — Батюшка, заплатив этою насмешкою за исповедь моей матери, отдал ей все портреты моего идеала и ушел.

Не понимаю до сих пор, как могла мать моя позволить себе подобную неосторожность, чтоб рассказывать при мне обстоятельства, заключающие в себе столько чудесного, сверх того имеющие такое близкое отношение к моим рисункам? Но с того времени я знал, что мои портреты — не фантазия, что они имеют подлинник, который, может быть, и существует... может быть, я и встречу с ним!.. Я жил, рос, мужал, дышал, чувствовал этою надеждою!.. Черно-смуглый цвет, синие белки черных глаз, темно-красные уста жили, как я уже вам сказал, в моем воображении, сердце, душе! Всюду являлись мне, всюду сопровождали меня! Они томили, жили, язвили сердце мое в самой глубине его! Как гонимый олень жаждет воды, так душа моя жаждала взора этих глаз с синими белками!.. День и ночь я сгорал желанием прижать к груди моей существо, которого смуглость равнялась бы смуглости Эфиопа! Я только об этом думал, этого желал, этого искал бы, если б был уверен, что идеал мой точно существует, хотя б то было и в антиподах!.. Но увы, меня окружали одни только красоты изящные! Смещение роз и лилей! И их уста алые как коралл, их кожа нежная и белая — как первый снег; их милые манеры, мелодический голос, все совершенства, в которых мать наша природа превосходит иногда самую себя — все это казалось мне карикатурою красоты... мне надобен был цвет и вид злого духа в секунду его падения.

Я не кончил бы никогда, любезный Эдуард, если б описывал все, что обуревало тогда, обуревает и теперь мою душу. Итак, я приступаю к описанию случая, пролившего

гибельный свет на чувства моего сердца.

Прибыв в это имение, я поселился в небольшом доме, построенном на случай приезда владельца. Надобно признаться, что забвение, в котором оставалось это имение, имело большое влияние на присмотр, ему оказываемый. Я заметил это, заняв комнаты, мне приготовленные. Расспрашивая о причине такого небрежения, я узнал, что сторона эта так дика, так мало населена, что всякий ремесленник далеко обходит ее, не надеясь найти тут и настолько работы, чтоб не умереть с голода. «По этому самому,— говорил мой управитель,— я не мог поправлять вашего дома как бы следовало, и я советовал бы господину барону продать это поместье, как ни к чему не служащее». Я спросил, как велико оно. «Двадцать миль в длину и восемнадцать в ширину», — отвечал управитель; и на вопрос мой: какого рода выгоды и невыгоды его, сказал, что имение состоит большею частию в дремучем лесе; что есть несколько лугов порядочных, несколько мельниц, но что самые лучшие места примыкают к проклятой долине, которая тоже давала бы много дохода, если б не служила сходбищем злым духам, которые слетаются туда каждый месяц один раз в полнолуние, и что по этому обстоятельству нельзя найти ни одного работника, который согласился бы косить там траву или делать какую другую работу.

Слушая такое донесение, я также — как вы меня — готов был счесть моего управителя не в полном уме. «На чем основан такой нелепый слух? Видел ли кто-нибудь этих злых духов? И давно ли стали говорить подобный вздор?»

«Задолго еще до того, как батюшка ваш, благородный барон Рейнгоф, купил это поместье, проклятая долина слыла местом недобрым; и лучшая почва земли оставалась бесполезною для помещика. Батюшка ваш поручил купить это имение кому-то из доверенных людей; но сам никогда не видал его и никогда не приезжал сюда, хотя купил однако ж именно в том намерении, чтоб поселиться здесь и жить подальше от столицы и от соседства пышных дворян ее».

«Сказывал ли кто-нибудь батюшке, что в его владении есть место, принадлежащее злым духам?»



«Не думаю, ваше сиятельство; батюшка ваш никогда не занимался вычислением, сколько какое поместье дает дохода? И всегда был доволен тем, что я отсылал ему. Ну, а как меня не спрашивали сколько с чего именно собирается, то я и не видел надобности тревожить барона таким донесением, которого истину я не мог ничем доказать и которому, мне кажется, он не поверил бы и еще мог счесть его плутовскою уловкою, что уже было бы всего хуже. К тому ж поверенный в его делах, покупавший это имение, именно запретил уведомлять барона о проклятой долине, говоря, что это такой вздор, о котором неприлично упоминать, и что для барона ничего не значит, если у него будет пропадать каких-нибудь пятьдесят тысяч пудов сена на корне, — одним словом, о проклятой долине надобно забыть. Все мы так и делали; от одного управителя к другому переходило это приказание и каждый исполнял его в точности до сего времени. Но когда уже ваше сиятельство приехали сами сюда и, может быть, на житье, то теперь я обязан дать вам подробный отчет о вашем владении».

«Давно ли куплено отцом моим это имение?»

«Да ваше сиятельство не родилось тогда; это было в первый год супружества вашего батюшки; верно ему хотелось провести этот год как можно дальше от столицы, что уже этому помешало, не знаю; но только молодые супруги не заглядывали в него».

Нечего было сказать на все это; я спросил только: далеко ль проклятая долина от моего домика и, услышав, что не далее мили, решился на другой день пойти туда рано поутру. «По крайней мере знаешь ли ты, в которой стороне и как велика эта долина?» — «Ничего не знаю, ваше сиятельство, кроме того, что она вот за этим лесом, который темен как ночь; густ, непроходим и в котором, сколько я запомню, не бывала нога человеческая!.. Говорят, долина, лежит среди леса и чуть ли не вровень с ним заросла травою; говорят, что она вширь и вдоль немного верст, но где она именно, — Бог знает: леса, ее окружающие, непроходимы и простираются на большое пространство; вблизи жилья нет никакого, исключая пяти или шести бедных хи-

жин и вашего поместья, которое прежний его владелец, видно, по сношении с сатаною, рассудил здесь расположить, — иначе я не понимаю, для чего б селиться так близко к месту проклятому».

Наступила уже ночь, когда я отпустил управителя. Хотя я не верил ничему из того, что он рассказал мне о долине, однако ж думал об ней невольно, стараясь отгадать, какой бы случай мог быть поводом к подобным слухам? Мало-помалу мысли мои начали толпиться, волноваться, представлять мне какие-то странные и как будто знакомые образы; кровь моя воспламенилась и была ключом во всем теле; воображение работало с напряжением... о сие я не мог и думать! Ища, чем бы развлечь себя от столь тревожного состояния души, я зажег свечу, достал свой портфель с рисунками, разложил их перед собой на столе и стал рассматривать... но тут уже совершенно овладела мною мысль о проклятой долине и о том, что она вплоть моего поместья... всякий рисунок представлял мне мое недостижимое благо! Жизнь моего сердца! Существо, созданное силою души моей тогда еще, когда она не оживляла моего тела! Вот оно передо мною в виде Сафо стоит на скале Левкадской!.. Она под шлемом Клоринды грозит острием копия своему страстному сердцу Танкреда!.. Она прощается с Гектором!.. Ее освобождает Персей! Она сводит с ума всех рыцарей двора Карла Великого! И вот — она же на утесе Наксоса простирает руки вслед корабля Тезеева! Всюду она и во всем она!.. Она и Армидою, и Венерою, и Дианою! Всему, что существовало в мире прекрасного, я дал ее черты!.. Не смею даже назвать всех, кого я одевал: этот образ; довольно, что все было — она! В тысяче видах она окружала меня; вот ее глаза черные, горящие как огонь, блестящие как бриллиант! Вон они с их синими белками! О как болит и трепещет от них мое сердце!... Вот это лицо черно-бронзовое, и как мил, как пленителен томный цвет его!.. А уста! Прелестные, сладостные уста! Какое очарование придает им их темно-красный отлив!.. Ах, для чего они не имеют жизни! Для чего не могут взять души моей в огненном поцелуе!.. Я едва не обезумел от натиска сильных ощущений и, чувст-

вужа, что дыхание спирается в груди моей, торопливо отворил окно, чтоб подышать воздухом. В эту минуту луна вышла из-за туч... как от электрического удара потряслось все мое существование— это ночь полнолуния!

Я даже сам не помню, как вышел из комнаты, совсем не знаю, как прошел и образумился не прежде, как близ известного вам круга кустов; месяц проливал свет, подобный чистому серебру, и высота, на которой он находился, показывала близость полуночи; все было тихо и безмолвно, дышали одни только ароматы... не умею изъяснить вам, что я чувствовал... но вы сами были на этом месте и верно испытывали действие, какое производит на душу и тело неизъяснимо сладостный аромат бальзамических растений очарованного круга. Я полагал себя в раю, мне казалось, что душа моя уже оставила тело; восторги мои могли б умертвить меня, если б продолжались еще хоть полчаса... в порыве безумной радости я бросился на землю, целовал ее; от этого движения выпали часы мои и циферблат их пришелся как-то прямо против глаза. Стрелка была уже на двенадцати... непонятный мне ужас оледенил мои восторги. Уступая невольному страху, я робко и поспешно укрылся в середине одного из обширно разросшихся кустов очарованного круга. До этой минуты я ни о чем так мало не думал, как о страшных посетителях проклятой долины: но теперь эта мысль так сильно овладела моим воображением, что я скорее усомнился бы в своем существовании, нежели в появлении сонма злых духов; я ждал их с каждою секундою... смотрел сквозь ветви своего куста на средину круга, и дрожал всеми членами как лист на осине!... Несколько минут этого состояния души и разума могут состарить человека целыми десятками годов... Ничего не было б удивительного, если б я, двадцатипятилетний юноша, или оставил жизнь свою в середине своего убежища, или вышел из него ослабленным стариком на всю остальную жизнь.

Только что я успел соединить над собою ветви кустарника, прилечь, притаить дыхание, как вдруг послышались завывания, сначала тихие, наносимые издали; потом с каждою минутою становились громче и раздавались ближе...

сердце мое то билось с жестокостью, то останавливалось, замирая от ужаса! Вся философия меня оставила! Верование угасло! Я не смел вознести мысль свою к Богу! Не смел просить его защиты и горько раскаивался, что оставил пышную, многолюдную столицу и приехал погрузиться в мрак заколдованного леса!.. Все эти мысли, раскаяние, сожаление пролетели молнией в уме моем... дошед до последней степени ужаса, я закрыл глаза, чтоб не видеть образа лютой смерти, меня ожидающей. Вдруг завывания утихли, близ меня шелестела трава, как будто кто по ней двигался из стороны в сторону. Я все еще не смел открыть глаз; шелест продолжался, слышалось по временам какое-то царапанье, дерганье, иногда скачки, иногда род треска, какой бывает, когда вырывают растение с корнем; иногда вдруг сотрясался куст, где я сидел спрятавшись, как будто кто быстро шмыгал мимо его. Это продолжалось около получаса — наконец я осмелился взглянуть...

О, Эдуард! Или жизнь или рассудок оставили б меня неминуемо при виде того, что представилось глазам моим, если б первый взор мой не встретил существа, так давно живущего в душе моей!.. Однако ж это было сборище злых духов... И она... одним из них! Она — благо жизни моей!.. предмет помышлений, властительница всех чувств!.. Элемент, которым дышу я, — демон! И я, несчастный, вместо ощущений ужаса и отчаяния, трепещу от восторга!.. Сердце мое хочет разорвать грудь, хочет исторгнуться из нее и прильнуть к сатане, скачущей то близ куста моего, то посредине круга!.. Я не могу отвести глаз от нее... вот она наконец! — не химера, не бред воображения, — не призрак!.. Существо осязаемое, имеющее вид, движение, члены!.. Вот она близ меня... дышит — я слышу; движется,, скачет... вот машет руками, поворачивает головою! А вот веют ее черные кудри!.. Все это я вижу.... вижу точно, и она уже не мечта! Она — душа моей души, жизнь сердца моего — не мечта? Она есть, существует, живет, дышит, смотрит, движется!.. Мною овладевали попеременно то исступленная радость, то неизъяснимый восторг, то какая-то непонятная нега, от которой я плакал обильными слезами... Я беспрестанно следил

взором моего ненаглядного демона — и верно не заметил бы никого из ее спутниц или спутников, если б она не скрывалась иногда в толпу их; тогда, стараясь отыскать ее глазами, я невольно смотрел и на других, и тогда ужас мой давал мне чувствовать слабость человеческой природы: мне казалось, что при взгляде на них мозг ссыхался в костях моих!.. Я уже сказал вам, что ни разум, ни вера не могли защитить меня от внутреннего убеждения, что я окружен толпою злых духов... и мог ли я думать иначе! Мог ли сомневаться вопреки свидетельству чувств моих, свидетельству зрения?.. Вот они передо мною! Я вижу их безобразные фигуры, бегающие, прыгающие, наклоняющиеся; вижу их длинные руки, вооруженные когтями! Мимо меня вплоть проскакивают они на своих копытах, и вот за каждую влечется ее длинный хвост с крюками на конце!.. Иногда все демоны вдруг наклоняются, царапают землю, вырывают растения, подбрасывают их вверх, потом все вдруг скачут, делают какие-то размахи руками, перебегают от одного куста к другому, перебегают круг в разных направлениях; но ни одна не выбегала на другую сторону! Наконец та, которую беспрестанно звало сердце, подошла к моему убежищу, села так, что тело ее углубилось в средину ветвей; она оперлась на них плечами и, протянув руку, положила ее на сучья... когти ее были почти вплоть у моего лица!.. Она приклонила голову: глаза черные, большие, блестящие, с длинными ресницами и — синими белками, смотрели внутрь куста... пламень их вонзился мне в сердце, прожег мозг, и я пал, наконец, под бременем моего счастья и вместе неслыханного несчастья! — чувства меня оставили.

Заря разливала уже алый свет свой, когда я возвратился к жизни! Бесполезно хотел бы я описать вам тяжесть, налегшую на мою душу... я любил — демона! Вот все, что мог я думать и в чем целые шесть лет то твердо уверялся, то боролся с сомнением. В первом помогала мне моя память, свидетельство моих глаз; другое внушала мысль: не были ли это сон лунатика? Не представилась ли мне вся эта страшная сцена во сне?.. Но опять какая ж сила повлекла меня в лес именно в полночь?.. Отчего, когда настал этот

час, радостный восторг мой заменился ужасом? Отчего я почувствовал, что мне надобно скрыться? От кого? И почему? Ах, я теряюсь в лабиринте стольких недоразумений! Допустив даже, что видение мое было действием сомнамбулизма или что я был в припадке белой горячки, но отчего ж во все шесть лет ни один из них ни разу не повторялся?

Я возвратился домой. Состояние души моей было болезнь и страдание в высочайшей степени! Ни одной ночи не спал я покойно, и если видел свет луны, то мне казалось, что адский хоровод кружится передо мною; что мой милый демон протягивает ко мне свою статную руку с когтями и трогает меня ими за лицо!.. До самого рассвета я то пылал огнем горячки, то леденел холодом лихорадочного озноба. С ущербом луны я становился покойнее и мог иногда спать всю ночь; к полнолунию я опять впадал в беспокойство и бессонницу; но когда наступало оно совершенно, когда наставала та ночь, в которую злые духи слетались в очарованном круге проклятой долины, тогда на меня нападал ужас и оцепенение, от которого я освобождался не прежде, как по восходе солнца.

Три года не мог я оторваться от места, где видел то, что люблю более, нежели язык человеческий может выразить. Всякий день, и летом и зимой, ходил я в проклятую долину, оставался там по несколько часов, иногда и целый день; но как только близилась полночь, я чувствовал, что какая-то сверхъестественная сила гонит меня оттуда, и я никогда не мог понять той быстроты, с которою проходил лес и являлся дома, хотя нисколько не прибавлял шагу против обыкновенной моей ходьбы.

Беспрестанная тревога мыслей, огонь, пожиравший душу мою, напряжение воображения, иногда смертельный ужас, иногда жестокие укоры совести, всегдашняя глубокая печаль до того разрушили мое здоровье, изменили вид, что всякий, при встрече со мною, сторонился с каким-то испугом, полагая, что я или в непрерывном припадке безумия, или одержим злым духом. Я сделался мрачен, дик, неприступен; глаза мои горели огнем адским; лицо пожелтело, высохло; я не терпел сообщества людей, гнал от себя слу-

жителей; почти ничего не ел, сидел по целым часам молча, закрыв лицо руками, и мысли, меня занимавшие в это время, были мрачны как бурная ночь осени и горьки как смерть злодея!.. Только среди кустов проклятой долины я несколько успокаивался; но и это успокоение, то возвращая мне беспечность младенца, то разнеживая до слез, то наполняя восторгом радости мое сердце, почти также успешно иссушало источники жизни моей, как и те беспокойства, порывы страсти и муки душевные, которые обуревали меня в остальные часы дня.

К концу третьего года моего проживания здесь и в самое то время, когда я готов был пасть под бременем своего несчастья, приехал ко мне отец мой. До него дошли слухи, что я опасно болен: что отвергаю всякое пособие, чуждаюсь людей, и что вся эта сторона считает меня впавшим в безумие. Встревоженный такими слухами и не получая от меня никаких известий, отец мой просил свое начальство дать ему какое-нибудь поручение в ближайший к этим местам монастырь, откровенно признавшись епископу, для чего он этого желает.

Состояние, в каком нашел меня отец, привело его в ужас: я был неузнаваем даже и для глаз отцовских! С слезами горести и сожаления прижал он меня к своему родительскому сердцу! Слезы его были благодатною росой моей пылающей душе... Я начал отдыхать несколько; мысль, что ношу в груди своей образ демона, что горю к нему неугасимую любовь, не давила уже непрерывно мозга моего и не разрывала поминутно сердца.

Проводя все время с отцом, мне некогда было углубляться в неизмеримость своего бедствия и редко уже удавалось посещать долину; я краснел, замечая презрительную усмешку, с которою отец мой слушал рассказ об ней нашего управителя: «Ну что ж, добрый Себастиан, — говорил батюшка, — если чертям Богемии понравился этот участок моей земли, так отдай им; пусть они без дальних хлопот владеют. Не так ли, сын мой? Ведь ты согласен уступить его этим господам?» Каково мне было слушать эту шутку! Мне — очевидному свидетелю ужасов проклятой

долины! И что я мог сказать в ответ?.. Повергнуться на грудь отца? Выплакать пред ним душу свою? Открыть страшную тайну... признаться в любви? — в любви, от которой содрогается природа! В той любви, служащей свидетельством, что злой дух овладел мною, вживе избрал меня своею добычею?.. Как бы я сказал все это отцу, не оправдав тех слухов, которые дошли до него о моем сумасшествии!

Близились полнолуние... Я делался беспокоен, глаза мои начали метать искры, я говорил несвязно, вскакивал ночью отворять окно и смотрел на месяц; а как я спал в одной комнате с отцом, то поступки мои сильно встревожили его: он решился, не отлагая нисколько, тотчас же везти меня в Прагу, чтоб посоветоваться с докторами. К счастью, я имел еще столько власти над собою, что мог победить неодолимое желание сказать отцу, что хочу остаться здесь на всю жизнь. Думаю, что это убило бы его, потому что уверило б в совершенном помешательстве ума моего. Итак, на приказание батюшки — готовиться к немедленному отъезду — я отвечал безусловным повиновением.

На другой день, в шесть часов утра карета была подана к крыльцу. Я пошел в свой кабинет, в который со дня приезда батюшки почти ни разу не входил. Там лежал мой портфель с рисунками; я хотел взять его с собою. Стены этого кабинета не имели другого украшения, как только одни картины моей работы; на них все женские лица были изображением одного. Над камином был портрет этого ж существа, слившегося с моею жизнью, сердцем, душою!.. Остановив взор мой на этом изображении, я уже не мог отвести его!.. Отец, отъезд, причина — зачем пришел, все исчезло из памяти моей; я стоял неподвижно как мрамор, и только содрогание груди моей, потрясаемой сильным биением сердца, показывало, что я не статуя... Но вдруг я затрепетал всем телом, почувствовав, что кто-то прикоснулся ко мне: это был батюшка.

«Что с тобою, сын мой? С четверть часа уже я стою близ тебя и жду, чтоб ты пошевелился... такой неподвижности мне еще не случалось видеть... и что хорошего в этой цыган-



ке?.. Ба, ба, ба, да и повсюду они!.. Или это все одно и то же?» — Батюшка обвел глазами по всем стенам кабинета; любопытство заставило его подойти рассмотреть их ближе; но он отступил от удивления, видя, что и мадонна Рафаэля имеет черты лица и цвет, одинакий со всеми. (Надобно вам сказать, любезный Эдуард, что я, не хвастаясь, могу назваться одним из лучших живописцев, итак, не мудрено, что в списке с картины Рафаэля я сохранил всю ту прелесть, которою отличаются лица этого художника и, вместе с тем, дал ему совершенное сходство с образом той, которая живет в душе моей.) Отец посмотрел на меня с удивлением: «Это уже преступление, Готфрид! И сверх того жестокое оскорбление вкуса. Знаешь ли ты, на кого похожи все твои Калипсы, Андромеды, Андромахи, Венеры, Дианы, Грации? — На злого духа в секунду его падения, когда безобразием греха подернулась его первобытная красота. Советую тебе сжечь всех этих демонов. Пойдем, карета давно готова».

Мы приехали в Прагу. Отец мой, которому обязанности его звания и близость срока не позволяли оставаться со мною долее, спешил отыскать и пригласить к себе искуснейших докторов. Странно было бы не лететь в ту ж минуту на зов богатого Рейнгофа, которого, есть надежда, с величайшею выгодною для себя, уморить или вылечить — все равно. По первому приглашению доктора съехались к нам тотчас же.

С изумлением смотрели на меня чада Эскулаповы: в виде моем проявлялось то, что жило в душе моей. На вопрос отца, как они думают, какого рода должна быть болезнь моя, трое из них сказали, и то не утвердительным тоном, что разгадать ее в скорости нельзя; но что, кажется, она должна быть из рода нервических. Лучшее лекарство — путешествие, веселое общество, непрерывное рассеяние. Остальные молчали и взглядывались между собою значительно. Тон первых и взгляды последних еще более встревожили батюшку, а меня — меня заставили содрогнуться в сокровеннейших изгибах сердца!.. Какой доктор откажет лечить, по крайней мере, откажется прописать лекарство

даже тому, кто был бы половиною тела во гробе, если б не полагал его одержимым нечистою силою!.. Приглашенные на помощь и совет молча раскланялись и постепенно уехали. Отец, не теряя ни секунды, повез меня к одному из своих давних друзей, доктору Л\*\*\*, давно уже оставившему занятия медицинские и жившему недалеко от столицы в небольшом поместье. Там он проводил не только лето, но также и зиму, говоря, что природа любит тех из детей своих, которые живут к ней ближе, и что за это она даст им все: здоровое тело, веселый нрав, красивый вид. Метода его — лечить одними соками трав, как самая успешная, навлекла ему множество врагов-завистников и, сверх того, прославила его чудачком. Тем не менее однако ж он следовал постоянно своему способу, утверждая, что благодетельная и заботливая мать наша натура все заготовила для нас; надобно только уметь пользоваться ее простыми, но бесценными дарами и благодарить за них создателя.

При первом взгляде на меня, веселое лицо старого доктора омрачилось заботою; с приметным беспокойством приложил он руку к груди моей и долго смотрел в глаза. После четверти часа наблюдений своих над биением сердца моего и выражением глаз он сказал мне ласково, чтоб я походил в его садике, пока он переговорит с отцом моим. Чрез час меня позвали в комнаты; отец мой был, как казалось, совершенно убит горестию. Он сидел в креслах, закрыв лицо руками, и приход мой не заставил его [ни] переменить положения, ни взглянуть на меня. В лице доктора заметил я какую-то торжественность. Он взял меня за руку: «Сын искреннего друга моего, любезный Готфрид! Буду говорить с тобою как с доблестным богемцем, как с мужчиною, то есть без пустых предосторожностей: болезнь твоя одна из опаснейших, потому что она не в теле. Она до того слилась с твоею душою, что извлечь ее или отделить не властна рука человеческая. Это возможно одному только богу... болезнь твоя переходит меру зол, данных в удел смертным... впрочем, с помощью Бога, твоей твердой воли и покорности уставам природы, которая требует, чтоб мы жили как можно проще и ближе к ней, я взялся б тебя лечить,

если б ты сказал мне искренно, какая господствующая мысль твоя?.. Я не о чувствах сердечных спрашиваю тебя, нет, мне надобно знать, о чем ты чаще всего думаешь? Или лучше сказать, непрестанно думаешь? Я читаю в глазах твоих и слышу по необычайному сотрясению груди, что какое-то странное чувство палит кровь твою, сушит мозг в костях и готовит преждевременную могилу...» — Горестный стон отца моего заставил доктора замолчать... Нет слов, Эдуард, выразить, что я почувствовал тогда! Я бросился к ногам отца, обнимал его колена, целовал руки, целовал лицо, по которому катились ручьи горьких слез, но говорить не мог: образ демона лежал на сердце моем тяжелою горою!

«Вот возьми, Готфрид! Носи это всегда с собою; она успокоит твои помыслы; а между тем поезжай путешествовать, побеждай силою воли то, что вселилось в твое воображение, не считай этого невозможным; все возможно для твердой воли человека, но преимущественнее всех способов — молитва! Возноси день и ночь мысль твою к Богу, не отчаивайся, если не тотчас получишь просимое. Есть в природе силы упорные, неразгаданные, но нет таких, которые рано или поздно не уступили бы силе главной».

После уже батюшка пересказал мне слова доктора, а я слышал только: «Вот, возьми, Готфрид!» Потому что говоря это, доктор подавал мне плоский ящичек... Спокойствие, радость, восторг счастья, нега любви, преданность воле Всевышнего, нежная любовь сыновняя, любовь ко всему роду человеческому, — наполнили душу мою, овладели всем существованием моим! Демон дал свободу груди моей и засиял мне издали лучами гения благотворного... доктор подавал мне ящичек с травами очарованного круга.

«Итак, сын мой! Не вхожу в тайны твоего сердца, не требую признания; но умоляю тебя именем Всевышнего, моею отцовскою любовью, моею старостию, страданиями сердца, — всем, всем умоляю, исполни в точности предписания доктора, изучившего природу в сокровеннейших таинствах ее; путешествуй, ищи рассеяния, не предавайся господствующей мысли; да отдалит ее от тебя твой добрый

дух-хранитель, и не оставляй никогда сбора трав, данных тебе этим редким другом и еще более редким человеком! А я, мой сын, до последнего вздоха буду молить Всевышнего о помощи; пусть мысль, что отец твой, день и ночь простертый во прахе на помосте церковном, умоляет тебе милосердие Создателя, пусть эта мысль сопутствует тебе всюду и дает силу победить врага, которого, о мой Готфрид, ты не только носишь в сердце, но и лелеешь его в нем!»

Это были последние слова отца моего. Я выслушал их, стоя на коленях и не переставая орошать слезами его ноги, обнимать и целовать их. Мы расстались. По совету батюшки я не поехал проститься с матерью. «Вид твой убьет ее», — говорил отец, — итак, я написал ей только, что расстройство здоровья моего требует продолжительного путешествия, что оно единогласно присуждено всеми докторами нашей столицы, и что я надеюсь возвратиться совершенно здоровым.

В это время, любезный Эдуард, приехал я и в ваше отечество. Следуя не столько наставлению доктора, сколько убеждению отца, я старался посредством всех возможных рассеяний не давать себе минуты свободной — углубляться в любимую мечту; не знаю, успел ли бы я в этом, если б не было со мною ящичка с травами, но знаю, что с ним не было никакой надежды на успех, хотя правда, что запах бальзамических растений точно производил действие, ожидаемое доктором, то есть успокаивал муки душевные, но вместе с тем прочно укоренял в памяти моей сцену очарованного круга и огненными чертами печатлел на сердце образ моего милого демона. Впрочем, я чувствовал, что аромат этих трав, может быть, от того, что они были в малом количестве и не на корне уже — не свежие, но только он не производил на меня того разрушительного действия, какое испытывал я, когда проводил целые дни в круте долины: теперь, напротив, он успокаивал волнение духа моего так тихо и так сладостно, как мать убаюкивает засыпающее дитя свое, напевая вполголоса мелодическую песню усыпления, и хотя я ни на минуту не забывал страшного видения в ночь полнолуния, ни ужасного предмета любви

своей, однако ж ночи мои становились от часу покойнее; я не проводил их, смотря на месяц, и когда наставало полнолуние, то вместо прежнего оцепенения мною овладевала одна только тихая грусть; я уходил в свою комнату и до рассвета молился, проливая слезы. Рисунков моих тоже не было со мною. Я не мог сжечь их, как советовал мне отец; кажется, я сам скорее бросился б в огонь, нежели допустил обратиться в пепел изображением, глубоко, глубоко внедрившимся в душу мою!.. Нет! Сжечь их я не мог; но из повиновения совету отца — не окружать себя красивыми дьяволами (это собственные слова его) — я имел твердость оставить их всех до одного в моем доме, в Праге.

В этом-то состоянии, близком к выздоровлению души и тела, был я, когда злая участь моя подготовила мне встречу с почтенным родителем вашим; на беду он полюбил меня до того, что не отошел от меня во весь вечер; и убедительно просил приехать на другой день к нему обедать. Не подозревая, какое бедствие ожидает меня, я охотно согласился. Остальное вы знаете. Слова батюшки вашего «кажется, я не был в сообществе с тем, кого он имеет честь всегда видеть» вонзились кинжалом лютейшей скорби в душу мою. Меня привезли в мою гостиницу в таком состоянии, которого невозможно описать и которое перепугало всех людей моих. Меня вынули из кареты едва живого и почти в полном сумасшествии. Оставшаяся слабая искра рассудка заставила меня искать ящика с травами, чтоб скорее вздохнуть в себя их целительный аромат; но я взревел как смертельно раненый зверь, когда поспешно и судорожно обшаривая свое платье, чтоб достать ящичек, не находил его нигде... последняя надежда, последняя помощь погибла! — я потерял ящик с травами!

Теперь желание возвратиться в долину овладело мною беспрепятственно и влекло с чрезвычайною силою. Я в ту же ночь уехал из К\*\*\*, и хотя был уверен, что стремлюсь к своей конечной гибели, велел однако ж гнать во весь дух, чтоб как можно скорее видеть себя в месте, отданном владычеству сатаны.

К довершению несправимости зла, меня преследующего, доктор Л\*\*\* и отец мой умерли. Об этом уведомляла меня мать моя и просила приехать повидаться с нею. Я нашел письмо ее в моем пражском доме, куда заезжал только на пять минут, чтоб взять свои неоцененные сокровища — рисунки. Мог ли я исполнить просьбу матери? Мог ли показаться ей на глаза? — я, который сам отступал с ужасом от зеркала, если случайно взглядывал в него! Первый ее взгляд на меня верно был бы последним! Какой матери сердце не облилось бы кровью, не замерло б от ужаса и не разорвалось от отчаяния при виде сына в таком состоянии, в каком был я!.. В глазах моих пылало то, что жгло мою душу! И как страшен был этот огонь! Он не здешнего мира!.. Это пламень никогда негаснущий, — пламень геенны!

Я отписал к матери, что упущения по хозяйству требуют не только моего немедленного распоряжения, но и собственного надзора, что я сию минуту отправляюсь в свое дальнейшее поместье и, окончив там все, что необходимо, поспешу повергнуться к ногам ее — вымолить себе прощение у нее и благословление.

Я возвратился сюда, велел выстроить этот небольшой замок и поселился в нем с твердою решимостью не выезжать никуда и дожидаться здесь конца своего — который близится, быстро близится, — я это чувствую и вижу ясно по всему.

Встреча с вами, доведши меня до последней степени отчаяния, внушила однако ж мысль сделать испытание. Дикий вой вашей собаки при виде моем еще более утвердил меня во мнении, что демон всегда присутствует при мне. Я давно перестал сомневаться в этом несчастье, однако ж, все-таки хотел бы испытать последнее средство. Слабый и уже последний луч надежды светит мне в этом испытании! Завтра, в полночь, приходите с вашим Мограби в проклятую долину. Я не буду там. Обещаясь придти туда, я забыл, что в ночь полнолуния на меня находит оцепенение, не позволяющее мне пошевелиться до самого восхода солнца. Итак, в долину вы пойдете одни с вашей собакою. Если видение мое было действием расстройства нерв, припадка

безумия или лихорадочного воспаления мозга, в таком случае оно — мечта и вы, как здоровый человек, его не увидите, собака ваша тоже будет покойна. Испуг ее и злобу при виде моем легко будет объяснить антипатиею, которою эти животные иногда чувствуют к тому или иному человеку. Но если... ах! Как сердце мое терзается от этого рокового если... если случится противное, Эдуард! если точно может быть в природе дело столь ужасное, как появление злых духов глазам человека, если вы их увидите, то пусть вера христианина будет подпорою вашего мужества, будьте уверены, что сила нечистого слабее силы червя пред всем могуществом имени Божия. Теперь последнее условие, любезный Эдуард, если вы не увидите ничего и никого, то спешите утром ко мне — возвратить жизнь, счастье и надежду отыскать когда-нибудь мое неоцененное благо; но если ж глазам вашим представится то, что представлялось мне,— простите навеки, спешите удалиться мест проклятых и для спокойствия вашего старайтесь забыть о моем существовании. Не видя вашего возврата, я буду знать, что видение было не мечта».

## ЧАСТЬ II

Сколько смелости ума, безумия, здравых суждений и нелепых заключений беспрестанно отталкивали меня от одной мысли к другой: то считал я Рейнгофа решительно сумасшедшим, то подверженным болезни, еще не известной в коллекции недугов человеческих... то — признаюсь, друзья, закрадывалась мысль: но если это в самом деле так? Если это место почему-нибудь во власти злых духов, ведь нельзя совсем отвергать их существования: злое начало есть, видно по всему... Однако ж известно, что демоны не смеют появляться пред человеком; они трепещут его как создания Божьего, имеющего в вере свою защиту!.. Нет, нет, барон болен или помешан!

Я остановился на этом и в продолжение дня хотел заниматься по-прежнему срисовыванием видов. Сошед с своей голубятни, достал портфель и принялся за работу. Мограби, по-видимому, был утомлен приступами своими к дверям. Он лежал на ковре и при моем приходе поднял только голову, помахал хвостом и опять растянулся во всю длину свою. Начав отделять один из ландшафтов, наскоро набросанных с неделю тому назад, я тщетно употреблял усилия, чтоб отдаться совершенно своему занятию; они показывали только, что я работаю не от чистого сердца, что мысли мои не тем заняты, и точно — баронов манускрипт читался сам собою в моем воображении!.. Напрасно я твердил себе, что барон сумасшедший, что все им написанное — бред горячки. Память моя представляла мне, что этот бред слишком рассудительно рассказан, слишком связно расположен!.. Я бросил карандаш и сел подле Мограби. Он в ту же минуту приподнялся, положил голову и лапы ко мне на колени и смотрел на меня не спуская глаз. Непонятная жалость защемила мне сердце: «К чему я, глупец, дал слово этому сумасброду мучить свою собаку. Ну, если она не пойдет добровольно в эти кусты? Надобно будет бить ее, употреблять жестокость против этого верного,



любящего животного, и для чего? Чтоб как дураку просидеть всю ночь спрятавшись, ожидая появления чертей!.. Досадное честное слово! Хоть бы я тысячу раз видел, что сделал глупо, а сдержать его должен!.. Да и как не сдержать?.. Барон сочтет меня трусом. Слуга покорный!.. Нет, даже и в мнении сумасшедшего не хочу быть трусом».

Несмотря на твердую решимость — исполнить желание барона, я неравнодушно видел, что солнце начало склоняться к западу. Хотя, сообразно здравому смыслу, трудно было поверить возможности увидеть злых духов лицом к лицу, однако ж идти в полночь в глухой лес, именно для удостоверения себя в такой возможности, было тоже не слишком весело.

Но честное слово! Всемогущее честное слово! Нет силы, ему равной; все покоряется ему, все побеждает оно! За два часа до заката солнца я отправился в сопровождении моего Мограби. Не зная, какой будет конец моего предприятия, я на всякий случай взял с собою пистолеты и широкую тесьму, из которой сделал для Мограби намордник, как делают для медведей, но только потеснее, чтоб он не мог ни выть, ни ворчать, как то он повадился делать. Я надел ему этот наряд не прежде однако ж, как уже пришел на место. И теперь горестно мне вспомнить изумление и испуг бедной собаки, когда она почувствовала на себе такую неприятную вещь, и еще надетую моими руками! Мограби лег у ног моих и смотрел в глаза мне так выразительно-печально, что сердце мое закипело жалостью; взор его, казалось, говорил мне: за что ты хочешь отнять жизнь мою? При всем разуме своем, всякая собака считает покушением на жизнь ее, если ей надевают на шею веревку или тесьму. Верно то же думал и мой несчастный Мограби; но я боялся успокаивать его ласками, — мне нужен был этот страх и печаль, которые его умирляли. Итак, не обращая, по наружности, никакого внимания на его тоску, я оставил Мограби лежать на траве, а сам пошел ходить вокруг кустов. Хотя солнце уже закатилось, но было еще довольно светло; и красота мест казалась поразительнее от легкого сумрака, их покрывающего. Однако ж внутреннее беспокойство о

моей собаке привело меня опять к ней; она сидела уже и следила меня глазами; увидя, что я подхожу к ней, легла опять и поползла ко мне, тяжело вздыхая... истинно я готов был проклинать и дурака барона с его чертями и свою глупую уступчивость!

Взошла луна; безмолвие ночи, красота долины, чистый, серебристый свет месяца не радовали меня... я все смотрел на Мограби с его намордником; на его жалобный взгляд, униженное положение и трепет всего тела, и едва-едва мог удержаться, чтоб не приласкать его. Горя нетерпением видеть конец этой глупости, я беспрестанно вынимал часы, — и вот наконец три четверти двенадцатого... Взяв тесьму в руки, я повел Мограби к одному из кустов, который показался мне шире и гуще других... о бедная, бедная собака! Не сомневаясь уже более, что я веду ее на смерть, она влеклась за мною ползком, стараясь высунуть язык, чтоб лизать мои ноги!.. Я поднял ее под передние лапы и втащил в середину куста; улегшись там так, чтоб середина круга была мне видна вся, и сказав грозно трясущемуся Мограби: «Лежать! Ни с места!» — я обратил все мое внимание на площадку, где, по словам барона, ровно в двенадцать часов, должен появиться адский хоровод.

Теперь, друзья, дошел я до того места моего рассказа, которое даст вам полное право счесть меня тем же, чем я считал барона, то есть человеком, подверженным припадкам безумия!.. Но чтоб вы ни думали, а я должен рассказать то, что видел, и даю вам честь мою порукою — что видел точно.

Только что стрелка стала на двенадцати, я услышал те самые завывания, о которых писал барон, они раздавались сначала глухо, потом, становясь ближе, делались с каждою секундою громче и страшнее... Я перекрестился и, не переставая призывать имя Божие, смотрел не спуская глаз на круг, — вдруг середина его покрылась толпою каких-то существ, совершенно сходных с описанием барона; своими глазами видел я, как они махали руками с длинными и острыми когтями, — и тоже, вплоть близ меня, прискакивали ноги с копытами... Точно так же, как виделось баро-

ну, наклонялись они к земле, драли ее когтями, рвали растения, бросали их вверх, начинали кружиться, выпячивали; все вдруг свои страшные черные руки и простирали их к месяцу; все эти действия производились безмолвно. Одно только заметил я, о чем не упоминает барон, — что в одной руке у каждого из этих существ был род короткого жезла... Хотя я трепетал в душе от столь необычайного явления, однако ж уверенность в заступлении Божиим не позволяла мне пасть под тяжестью страшного впечатления, производимого мыслию, что вижу лицом к лицу обитателей ада! С четверть часа уже смотрел я на действия адской шайки, стараясь только, чтоб не встретить взгляда которого-нибудь из них, — наверное, он лишил бы меня памяти, — но вдруг сердце мое облилось кровью и невольный вопль исторгся из груди: Мограби, который трепетал так, что куст потрясался, лежал теперь без движения, сердце не билось, члены вытянулись, и холод смерти оковал его тело... «Мограби! Мограби!» — кричал я с плачем, стараясь, сорвать намордник, полагая, что он стеснил ему дыхание, и силился вытащить его из куста... Хотя смерть Мограби была мне страшнее моей собственной смерти, однако ж зрелище, последовавшее в секунду моего вопля, не могло остаться не замеченным: все дьявольские фигуры начали вертеться с неимоверной скоростью, свернулись в одну массу, которая вся вместе вертелась с быстротою вихря, охватилась вдруг ярким пламенем, заменившимся тотчас густым дымом, и когда он рассеялся, то уже круг долины был пуст, как будто никого не бывало на нем.

Солнце взошло. Я сидел над телом Мограби и уже не плакал, а выл... слезы мои лились ручьями!.. Я клял барона, себя, — готов был умереть!.. Напрасно прикладывал я руку к сердцу моей собаки, оно не билось; во всем теле его нигде не осталось ни малейшей теплоты; оно было уже холодно и твердо... Я уверен, что раскаяние и сожаление лишили б меня рассудка, если б судьба не сжалилась надо мною и не внушила мне испытать силу ароматных трав круга. Я побежал туда, вырвал наудачу какие попались первые, возвратился быстрее ветра и обложил ими голову Мо-

граби... О друзья!.. я плакал навзрыд от радости, когда Мограби пошевелил головою; я бросился целовать его, когда он взглянул! Я называл его всеми именами, какими мог бы назвать любезнейшего из друзей! Разорвал при его глазах проклятый намордник в куски, бросил его и снова принялся обнимать мою собаку. Наконец она в состоянии была подняться, но не могла стоять на ногах и опять легла. До полудня оставался я в лесу, пока Мограби оправился столько, что мог идти; но он шел медленно нога за ногою. Наступила ночь, когда я пришел к первым хижинам деревушки, где жил; далее собака моя не могла идти и опять легла. Я нанял лошадей до первого городка и уехал, не заботясь ни о бароне, ни о его сатанинском хороводе в долине. С того времени никогда уже силы Мограби к нему не возвращались; он одержим всегдашним расслаблением и более влачится, нежели ходит; если он пройдет ста два шагов, то ложится и дышит так тяжело, как будто пробежал пять верст во весь дух. Год уже минуло этому происшествию; каких средств не употреблял я, чтоб вылечить мою собаку, — все остаются без пользы; бывают минуты, в которые я готов был бы ехать снова в проклятую долину; мне кажется, что травы крута возвратили б здоровье моему Мограби, и я горько сожалею, что не взял их сколько-нибудь с собою. Теперь нет дня, чтоб вид моего Мограби в его тогдашнем униженном положении у ног моих, с проклятым намордником, старающегося лизать мои руки, — нет дня, чтоб этот вид не представлялся мне и не терзал души моей поздним раскаянием».

Эдуард замолчал и грустно склонился на грудь головою, товарищи тоже молчали... минут с пять никто не знал, как прервать это безмолвие; наконец Эдуард встал и сказал:

— Жестоко растравил я рану души моей этим рассказом!.. Ах, как я был глуп, что в угождение сумасброду согласился на такое испытание...

— Что-то сделалось с бароном? — сказал Алексей, ни об чем так мало не думая, как о бароне; но только чтоб дать другое направление мыслям Эдуарда, не на шутку загрустившего.

— Бог с ним, друзья!.. Не пора ли нам идти за нашей провизией?..

— Полно, Эдуард... кто знает, может быть, твой Мограби и выздоровеет... ожидай лучшего... ну, да поедем все в проклятую долину, если хочешь; хорошо? Согласен?

— В самом деле, Эдуард, поедем и вспомни мое слово: если не привезем назад твоего Мограби совершенно здоровым... ну, а теперь покажи часы, есть ли уже двенадцать?

Эдуард вынул часы: стрелка стояла на пятидесяти минутах двенадцатого.

— Ну! В поход, в поход, друзья, все вместе. Я хоть и вызвался идти один, но право мне что-то слышится завывание чертовского хора.

В эту минуту черные тучи, которые сильным ветром быстро неслись по воздуху огромными массами, вдруг раздвинулись, луна ярко заблистала, и все тогда увидели, что это час полнолуния... часы Эдуарда прозвонили двенадцать, и в ту же секунду явственно послышался вой собаки...

— Это Мограби! — выкликнул Эдуард, пустясь с быстротою вихря к могиле Столбецкого. Студенты, несмотря на ужас, овладевший ими, спешили за ним. Эдуард был далеко впереди... Вдруг восклицание его «барон!» оледенило кровь в самой глубине сердца и невольно сковало шаги их... Буря выла, но небо было чисто и месяц светил на всю окрестность. Молодые люди ясно видели человека, сидящего у могилы Столбецкого, видели Мограби, вьющегося у ног Эдуарда, видели и этого последнего, стоящего неподвижно и смотрящего на Рейнгофа — как на привидение, вышедшее из глубины ада!

— Я знал, что вы испугаетесь меня, любезный Эдуард, что, впрочем, очень простиительно; но всему виною ваш Мограби. Не замечаете ли вы какой перемены в нем? — Это говорил Рейнгоф, и Мограби, между тем, скакал выше головы Эдуарда, бегал, как быстрый олень по полю, опять пробегал, опять скакал... Казалось, он хотел вознаградить в один час свое годовичное расслабление... Эдуард онемел от изумления и не знал, верить ли глазам своим. Этого мало, что Мограби совершенно здоров, но он еще ласкается к ба-

рону, лижет его руки, прыгает к нему на грудь и трется около его ног.

Вся эта сцена и восклицание Эдуарда: «это Мограби» и до слов барона Рейнгофа, заняла времени не более десяти минут. Наконец Эдуард подошел к барону, подал ему руку и спросил:

— Неужели вам, барон, обязан я излечением моей собаки, как вы сошлись с ним вместе? Какие средства употребили?.. Извините, барон, чувствую, что вопросы мои несвязны и бестолковы... но я, право, не могу еще прийти в себя от всего, что случилось.

— Все случилось очень просто, любезный Эдуард!.. Вы узнаете все... Но познакомьте ж меня с этими господами; это, конечно, ваши друзья? — Эдуард представил барону своих приятелей и сказал ему, что об нем они уже знают. Рейнгоф рассмеялся. — Не хотите ль вы уморить ваших товарищей от страха, рассказывая им в этот час ночи о моей долине? Я уверен, что вы этим занимались там около пня.

Веселый вид барона, свежее лицо, блестящие глаза и шутливый тон, в каком говорил он о долине, успокоили совершенно Эдуарда и его товарищей, но вместе и возбудили их любопытство, особенно Эдуарда, который был свидетелем совсем другого положения как здоровья и состояния духа барона, так и отношения его к проклятой долине.

— Вот видите, барон,— начал говорить Эдуард, — мы сговорились провести здесь всю ночь, чтоб полюбоваться прекрасным зрелищем восходящего солнца. Не угодно ли и вам сделать нам в этом компанию? Мы воротимся к нашему огню и, кажется, что остальная половина нашей ночи будет так же весела, как первая была страшна. Ну, друзья, где ж наша живительная роса, наше вино? — Алексей вынимал уже его из дупла.— О, какая роскошь! — сказал барон,— такую сельскую ночь очень приятно провести без сна. Позвольте и мне, господа, присоединить кой-что от себя; здесь неподалеку моя коляска и в ней мой дорожный запас дичи, пирожного, конфеток... Все это мы сочетаем с вашим вином, отправимся к огню, усядемся вокруг — и то-

гда, любезный Эдуард, я расскажу вам еще кой-что о проклятой долине; я именно для этого приехал сюда; я обязан вам объяснениями и сверх этого должен был возвратить здоровье вашему Мограби, столько пострадавшему от испытания, на которое вы с таким снисхождением согласились... Впрочем, без этого испытания я до сих пор оставался б под властью страшного обаяния! Полная уверенность, что я точно добыча злого духа, в которой утвердил меня ваш отъезд, и слух, что вы повезли с собой вашу собаку, совершенно лишенную сил, — эта уверенность была кризисом, после которого я выздоровел, сделался счастлив, приехал возвратить здоровье Мограби и объяснить вам все, что было непонятного в ужасах проклятой долины,— Барон взял за руку Эдуарда и в сопровождении прыгающего Мограби пошел чрез небольшой перелесок на дорогу. Там стояла его дорожная коляска. Приказав человеку вынуть, что было в ней из съестного, и нести за ними, воротился к остальным товарищам.

— Я заехал прямо к вам, любезный Эдуард, и верно дождался бы вас, если б не Мограби: первым делом моим было дать ему проглотить тот состав, который мог возвратить ему в ту ж минуту прежние силы и здоровье; но мне и в голову не приходило, какое употребление он сделает из него; — только что он почувствовал крепость в ногах и легкость во всем теле, как в ту ж минуту бросился вон; я угадал, что он побежал отыскивать вас; люди ваши сказали мне, в какую сторону вы пошли, я поспешил сесть в коляску; ее не успели еще отложить,— и поскакал вслед за Мограби. Я боялся, чтоб он снова не лишился сил, потому что не был совершенно уверен, в один ли раз выздоровеет он или надобно несколько приемов этого лекарства. Не сомневаясь, что он побежал к вам, я спросил поспешно, какую дорогою вы пошли, и тотчас пустился по ней; к счастью, собака ваша тоже бежала не полями, а дорогой, и вот мы примчались с нею к этому дуплу, у которого она остановилась, обнюхивала его, обнюхивала могилу, камень, поднимала морду кверху и выла; я не знал что делать; по разведенному в стороне большому огню я угадал, что вы там; но

как ветер дул не от того места, то Мограби и не мог услышать вас по духу. Надобно думать, что вы были также и здесь, потому что он никак не хотел идти отсюда; с полчаса хлопотал я, чтоб заставить его пойти со мною к вашему огню: но он лизал мои руки и опять ложился у душла и выл. Думаю, кончилось бы тем, что я послал бы к вам человека — уведомить о своем приезде и о месте, где вас ожидаю. К счастью, ваш приход прекратил наши общие с Мограби затруднения.

Снова молодые люди уселись около пылающего огня. Но какая уже разница против первого их заседания! У них прекрасный вкусный ужин, превосходное вино, которое, впрочем, без встречи с бароном пришлось бы им пить просто из бутылок, а теперь к услугам их были два серебряных дорожных стакана; общество их прибавилось тем человеком, о котором рассказ наводил им такой ужас; вот он перед ними, лицо его благородное и прекрасное, цветет здоровьем; по его свежему румянцу, живым глазам, веселому виду было б очень мудроно счесть его одержимым злым духом. Студенты начинают подозревать, что Эдуард мистифицировал их нарочно выдуманною сказкою... Но нет, барон сам упоминает о проклятой долине, сам говорит, что последняя степень ужаса была кризисом, возвратившим ему здоровье, рассудок и счастье... а к тому чудесное излечение Мограби! — и барон нарочно для этого приехал!.. Ах, как все это любопытно будет слушать!.. Они спешат с ужином и беспрестанно толкают легонько Эдуарда, чтоб просил барона рассказывать.

Наконец ужин кончился; люди барона убрали все,несли множество дров, то есть хворосту и сухих палок, разложили еще больше огня; собрали в груды все кости, сложили их на тарелку и подали Эдуарду, который и представил это лакомое кушанье своему неоценимому Мограби. Собака без церемонии расположилась ужинать у самых колен своего господина, не перестававшего гладить ее.

Барон не заставил просить себя о рассказе; как только люди, окончив свою работу, ушли к коляске, он начал говорить:



«Когда взошло солнце и благотворный свет его пробудил меня от летаргического сна, или, как я полагал тогда, нагнанного злыми духами оцепенения, то никакие слова не выразят моего отчаяния, когда, спросив у людей — пришли ли вы? — получил в ответ, что вы не возвращались в ваши хижины, из которых пошли вчера перед закатом солнца. «Что я сделал, несчастный! — думал я, — не довольно ли было мне одному переносить свое бедствие!.. Бедный молодой человек! Верно, его несчастная собака сделалась жертвою этого испытания!.. О человек! Ужасное создание... эгоизм тот кумир, которому он все приносит в жертву! Вот прекрасное и верное животное лишилось жизни для того только, что мне надобно было посредством его рокового дара увериться, точно ли нечистая сила овладела моею долиною и — моим сердцем!.. Не лучше ль мне было оставаться в сомнении о столь страшном деле, нежели на счет жизни невинной твари!..» Несмотря на мое бедствие, в котором теперь уже не сомневался, сердце мое сохранило столько чувства сострадания, что я искренно сожалел и раскаивался о зле, причиненном вашему Мограби: я плакал бы, если б мог, но слезы мои давно высохли от того адского огня, которым сожигалась кровь моя; итак, одно только мучительное беспокойство внедрилось в душу мою и не давало минуты оставаться на месте... Я не смел однако ж идти к вам в долину, полагая, что увижу вас сидящего над трупом вашего Мограби, употребляющего все старания оживить его и призывающего на меня мщение небес».

— Вы отгадали, барон, я точно клял вас от всей души моей и выл, как волк, над бесчувственным телом моей собаки... Хорошо вы сделали, что не пошли в долину.

«Теперь, когда все уже объяснилось и миновалось, мы можем говорить об этом шутя; но тогда, любезный Эдуард, страдания мои привели б в жалость самого начальника зла, не только существо, имеющее кровь и плоть... Когда наступил вечер, а вас все еще не было, — я пришел в бешенство! — бросился с иступлением бежать в лес... как вихрь несясь какую-то чрезвычайною силою между деревьев, кустов, не разбирая дороги, ни мест; избитый, истерзанный

сучьями, окровавленный, достиг я большого оврага недосягаемой глубины, — по крайней мере, мне казалось, что нет ему дна, — с смехом, от которого дико загрохотал лес, и восклицанием: «ад, возьми свое достоинство», — бросился я в глубь бездонной пропасти!

Чувства и разум возвратились ко мне спустя уже долгое время. Я однако ж понимал смутно, что еще живу; казалось мне, что комната, где я лежал, была род погреба с черными закоптевшими стенами; что посредине этого погреба беспрестанно горел огонь, близ которого шевелился какой-то предмет; но понятия мои были так сбивчивы, что все, виденное мною, беспрестанно менялось и наконец совершенно исчезало, и я впадал в сон или беспамятство, — не могу теперь этого решить. Еще помню, что существо, шевелившееся близ огня, подходило ко мне, брало мою голову, поднимало ее и, подержав несколько, опять опускало, от этого действия мне становилось так легко, покойно, радостно, но только я в ту ж секунду погружался в забытие и едва только чувствовал, что голова моя опять на подушке, как уже не помнил более ничего.

Наконец, страдание ли неведомого мне существа, живущего в темном погребе, или сила молодости и натуры возвратили мне отчасти употребление моих физических и моральных способностей. В одно утро, — а, может быть, и вечер, потому что в моем теперешнем жилище была вечная ночь, открыл я глаза с совершенным присутствием памяти и, чувствуя полную крепость сил, тотчас встал с какого-то лиственного ложа. Теперь уже я видел предметы не сквозь мрак болезненной дремоты, но явственно и в настоящем их виде: я находился в обширной пещере, вроде подземелья; стены этой странной залы были черны, как уголь, и местами светились от насевшей на них сажи; в одну сторону тянулся мрачный коридор, и верно это был выход, потому что туда же вился тонкий дым, поднимавшийся от небольшого огня, разведенного посредине пещеры. Три большие камня составляли род очага, на котором лежала железная доска с пробитыми в ней круглыми отверстиями; в них были вставлены горшки разной величины; во всех на-

ходила какая-то жидкость, и все они тихонько шипели; но предмета, который, как мне казалось в моем лихорадочном усыплении, шевелился близ огня — теперь не было.

Не зная что думать как о месте, где нахожусь, так и о всем том, что меня окружало, я опять сел на свою постель... запах знакомых растений заставил меня радостно вздрогнуть, — что удивило меня самого. Натуральнее было б придти мне в прежнее отчаяние, нежели в радостное состояние всего моего существа, физического и морального: этот аромат, припоминая мне долину, вместе с тем воскресил в памяти все, что отравило жизнь мою, и возвращал мне уверенность в беспримерном бедствии — быть добычею злого духа; а в вашей гибели я даже не сомневался! Но несмотря на все это, я был покоен, доволен, счастлив и более, нежели в собственном существовании, уверен, что меня ожидает прочное, ничем не возмущаемое благополучие. Я снова погрузился в дремоту, не в ту болезненную дремоту, которою до сего одержимы были мои чувства, но в это благотворное усыпление, восстанавливающее наши силы и возвращающее нам жизнь с ее радостями. Впрочем, хотя дремота моя была очень сладостна для меня, но я заметил, что она произведена была испарениями бальзамических трав, из которых составлялось мое ложе, а не от слабости больного тела, только что начинавшего выздоравливать,— потому что за минуту до невольного усыпления моего я хотел осмотреть все углы пещеры, поискать выход, рассмотреть все углубления, которых я заметил много в этом прочном жилье, и все эти планы уснули вместе со мною. Впрочем, сон мой был не так крепок, — он был сообразен обновляющимся силам моим, то есть тих, покоен, но чуток... и вот мне казалось, что близ огня опять зашевелился какой-то предмет, которого ни формы, ни лица не мог я видеть, как это обыкновенно случается во сне; виделось мне, что к этому предмету, постоянно находящемуся у огня, начали присоединяться какие-то фигуры огромного роста, безобразные; все они наклонялись к железной доске, — смотрели долго, наконец взялись за руки и, составя круг около очага, запели все вдруг. Волосы шевелились на

голове моей от ужасного хора, который пел дико следующие слова:

*ХОР*

Месяц полный, серебристый!  
До полночи нам свети;  
Мы пойдем чрез лес нечистый,  
Чрез заглохшие пути.  
Вслед за нами понесутся  
Черти, ведьмы, колдуны,  
Вместе с нами соберутся  
На долине сатаны!  
Грозной тучею закройся,  
Месяц круглый, золотой;  
С наших трав росой умойся —  
И плыви уж на покой.  
Тучи, тучи громовые,  
Соберитесь к нам на пир!  
Черной завесой, густые,  
Занавесьте целый мир.  
Чтоб ни взором, ни приходом  
Не застиг нас человек:  
Пусть от страха он уродом,  
Пусть безумным будет век!  
Пускай в уши волки воют,  
Леший спутает шаги;  
Пусть от страха кости ноют, —  
Пропадет пусть!!.  
Ги!.. Ги!.. ги!

Окончив пение, страшные фигуры наклонились снова над очагом, вынули из круглых форм стоявшие в них сосуды и, держа их в руках, потянулись вереницею к темному коридору, в котором и исчезли.

После этого я погрузился в глубокий сон, подобный смерти, ничего не помня и ничего не чувствуя; но вдруг как будто электрическая искра пролетела по всему моему внутреннему составу; видения снова столпились перед моими мысленными очами, и я опять был в этом состоянии, которое нельзя назвать ни бодрствованием, ни сном; я не мог пошевелиться, не мог говорить, не мог видеть явственно, но видел однако ж предметы, слышал звуки, чувствовал прикосновение: казалось мне, что я лежу в очарованном круге долины; сладостный аромат трав поминутно навевался ко мне ветерком, освежавшим лицо мое; прямо надо мною светило яркое солнце; свет его ослеплял меня и лучи, казалось, хотели сжечь, — по крайней мере, я чувствовал какой-то нестерпимый жар; сверх сияния солнца мне казалось еще, что я обложен кругом каким-то необычайным светом, наводившим мне и беспокойство и неловкость; среди этого непонятного мне блеска сидело какое-то существо, которое хотя было освещено совершенно, но черты его были неуловимы моему взгляду: казалось, они беспрестанно менялись; существо это, как мне слышалось, горько плакало, наклонялось ко мне и произносило мое имя. Напрягая слух, сколько позволяло мне мое странное усыпление, или, лучше сказать, оцепенение чувств, я наконец расслушал явственно, что неведомое существо говорит голосом нежным, кротким и неизъяснимо-печальным: «Готфрид, мой милый Готфрид! Я сохранила тебе разум твой; но кто знает, не заплачу ль за него своим, — или самую жизнь!.. Увы, Готфрид, прости! Я более тебя не увижу!» Я почувствовал капли горячих слез, которые градом падали мне на лицо... а я все не мог пошевелиться, хотя сердце мое жестоко билось! «Мариола! Ты здесь одна? И не заперта еще?» — раздался вдруг грубый голос, и вмиг все исчезло; солнечное сияние, посторонний свет, безмерная теплота, плачущее существо, запах трав, зеленая долина, все в одну секунду бог знает куда пропало, все исчезло в густом мраке, — и я опять в черной пещере!

Глубочайший сон оковал мои способности, и я снова погрузился в совершенное бесчувствие; не знаю, что со мною

было в продолжении этого неестественного сна и долго ли он продолжался, но когда я получил полное употребление всех моих чувств и совсем уже освободился от тяжелого усыпления, то увидел себя лежащим на лугу под тению старого дуба, в виду моего замка. Силы мои возвратились, идеи были в совершенном порядке, разум не возмущался более воспоминаниями о долине злых духов, о вашей гибели и о смерти вашего Мограби; я как-то был уверен, что все это кончится хорошо и что во всем этом ничего не могло быть сверхъестественного... одним словом, я выздоровел столько же духом, сколько и телом; одна только любовь, со мною родившаяся, осталась в душе моей во всей своей силе; но и она не жгла сердца моего огнем лютого отчаяния; не терзала, не томила безнадежностью, напротив, живила, лелеяла, наполняла восторгом и уверенностью в несомненном успехе.

Я встал, и казалось, что возвращение в замок должно было быть первым делом для меня; однако ж я безотчетно пошел отыскивать пещеру, в которой лежал; что-то говорило мне, что все виденное мною было не сон, а самая существенность; что предмет, шевелившийся у огня, и существо, сиявшее в лучах солнца и плакавшее надо мною, — должно быть одно и то же, что судьба ее близка к моей, что я должен спешить к ней на помощь. Вы видите, любезный Эдуард, что я уже предполагал это существо — женщиною.

Ни малейшая тень сомнения, что я заплутаюсь или не найду пещеры, не тревожила меня: почему-то я уверен был, что все найду, во всем успею; я шел наверное, и точно после двух часов скорой ходьбы по дремучему лесу, иногда чистым перелеском, иногда красивым холмом, я пришел наконец в такую мрачную и непроходимую дебрь, что казалось, сам ужас избрал это место своим всегдашним жилищем; но спокойствие и твердость духа, столь чудесно во мне возродившиеся, не уступали этому впечатлению; я шел мужественно и бодро, с силою раздвигая ветви; легко перешагивал через огромные колоды деревьев, поверженных бурей и от времени уже иструхших. Продолжая углубляться далее внутрь страшных дебрей, я пришел на край овра-

га, которого дно едва-едва было видно. Что-то говорило мне, что я у цели своих поисков, что здесь должна быть черная пещера, что это та самая бездна, куда я бросился, но как же я остался жив? — спрашивал я сам себя, измеряя взором недосыгаемую глубину оврага, и невольно содрогался... Невозможно было остаться живым, низвергнувшись в эту пропасть, — совершенно невозможно! Я шел в раздумьи по краю оврага, как вдруг увидел род уступа сажени полторы вниз от края оврага. Я вскрикнул от радости и вмиг соскочил на него... Он весь зарос кустами, которые выходили из стены оврага, росли горизонтально, и ветви их служили как бы крышею этому уступу. Спрыгнув на эластическую кровлю, образовавшуюся из сучьев кустарника, я натурально не мог твердо стать на ноги и покатился на край уступа, висящего над бездною; но смелость и присутствие духа мои были так велики в это время, что я без малейшей тревоги, с совершенным хладнокровием и даже без большой торопливости ухватился крепко за ветви и спустился безвредно на небольшой клочок земли, который аршина на полтора только выдавался перед какою-то грудю почерневших камней. Не теряя времени ни одной минуты, я тотчас стал пробираться между ними; сначала казалось, что извилины эти ни к чему не ведут, что это просто огромные камни, упавшие с края оврага и от давности вросшие уже в землю; но я имел твердую уверенность открыть что-нибудь более, нежели одни камни, и именно то, чего искал, — черную пещеру. Ожидание не обмануло меня: я увидел чуть приметную тонкую струю дыма, выющуюся между камнями. Это была нить Ариады для меня; я пошел за изворотами дымной струи и через пять минут стоял уже в темном узком коридоре, ведущем, по моему предположению, в черную пещеру... О как трепетало мое сердце! Какой невыразимый восторг охватил все мое существование! Здесь, здесь находится благо жизни моей, мое высочайшее счастье на земле!.. Страх не имел доступа к душе моей... ужасные фигуры, певшие дьявольскую песню, казались мне пугалами, способными устрашать одних только детей... Я чувствовал в себе силы исполинские как душевные, так и

телесные, — я думал, что могу повернуть вселенную в ее основании; в таком восторженном состоянии духа я поспешно вошел в пещеру... У огня, прямо против меня, ярко освещенная его светом, стояла та, которую со дня рождения звала и жаждала душа моя... Оставляю вам, любезный Эдуард, вообразить мое тогдашнее состояние... Пройду его в молчании!..

Как молния бросилась ко мне она, — как молния бросился я к ней и, заключив ее в объятия, прижал к груди: тогда только понял, что такое элизиум древних! Правда, что ни ум вымыслить, ни слова выразить не могут всей великости этой награды! Я безмолвно держал у груди своей мою жизнь, мою душу, единственное, неоцененное благо мое, — мою милую, дражайшую Мариолу; я не слышал ее восклицания, с которым она бросилась ко мне; но теперь она старалась освободиться из рук моих, повторяя: «Готфрид! Ты погиб! Зачем ты здесь!.. Ради бога, опомнись! Пусти меня, Готфрид!.. Увы, я несчастная! Погибель его неизбежна!..»

В коридоре послышались шаги и опять раздался голос, который я слышал уже, быв в усыплении: «Ты одна, Мариола?» Быстрее мысли Мариола вырвалась из моих объятий, рванула меня за руку — так, что я, как пух, улетел за нею к одному из углублений пещеры, и, толкнув туда, вмиг опустила какую-то запачканную занавесь... Все это случилось гораздо прежде, нежели вошел тот, чей голос и шаги раздались в коридоре. Гадкая холстина, висевшая перед лицом моим, имела много прорех, и я мог явственно видеть все происходившее в пещере. Вошедший был мужчина исполинского роста и, по-видимому, необычайной силы. Ефиопский цвет кожи и черты лица показывали, что он цыган. «Давно ушли старухи?» — спросил он Мариолу, которая, наклонясь, подправляла огонь под железными горшочками. «Давно уже, я другой раз с тех пор подкладываю хворост». — «Однако ж осторожнее, осторожнее... что ты, с ума сошла, зачем такое пламя развела? Разве забыла, как эти снадобья должны вариться? Убавь» Мариола, которая в замешательстве наложила чуть не полную печь хворосту



и заставила бы непременно сбежать все, что варилось в железных сосудах, при этом окрике цыгана поспешно залила огонь, вытащила лишний хворост и привела огонь в то состояние, в котором должна была его поддерживать по нескольку часов в сутки. Цыган продолжал ворчать: «И почему эти старые дуры тебя не запирают, когда уходят? Всякий раз я должен смотреть за этим... Не понимаю, куда девался сумасшедший? Я положил его в виду замка и долго ждал; хотел видеть, как он очнется, что будет делать и куда пойдет; кажется, глаз не сводил с того места, а все-таки не видал, куда он делся; не видал даже, когда он встал с травы; ну да черт с ним, теперь уж он нам не страшен!.. Пускай бродит, где хочет...» — Цыган встал с камня, на котором сидел против огня: «Прощай, Мариола! Смотри прилежнее за своею работою». Он ушел, и я слышал, как тяжелая дверь, которую я совсем и не заметил прежде, легко повернулась на петлях, плотно захлопнулась и была задвинута железным засовом.

Я не дожидаясь, пока шум запираемой двери совсем затихнет; но отдернул поспешно гладкую занавесь, меня закрывавшую, одним скачком очутился близ Мариолы и снова заключил ее в свои объятия с чувством невыразимого блаженства; но она трепетала всеми членами и проливала горькие слезы, восклицая: «О, Готфрид! Что будет с тобой! Как ты выйдешь отсюда!» — «Не думай об этом, моя Мариола, мое сокровище! Благо, посланное мне милосердием вышнего! Не думай об этом!.. будем пользоваться счастьем быть вместе... Ведь ты любишь меня, милая Мариола? Не так ли? Ты называла меня: «Мой Готфрид!» Повтори еще это восхитительное слово, — пусть я услышу его от тебя не в усыплении, пусть блаженство мое будет совершенно!..»

Наконец сила и пламень любви моей сообщились сердцу Мариолы, изгнали из него все опасения и заставили разделять мои чувства; она прилегла на грудь мою, нежно прижалась к ней и робко повторяла: «Готфрид! Мой милый Готфрид! Как я люблю тебя!» Совершенно напрасно хотел бы я описывать вам, что чувствовал, слушая эти слова и прижимая к сердцу Мариолу, скажу только, что чер-

ная пещера казалась мне светлым раем.

Наконец потухающий огонь и наставший вслед за этим мрак во всей пещере заставил мою Мариолу вздрогнуть, вырваться из моих объятий и из области душевных восторгов и очарования любви возвратиться к грустной сущности; она стала подкладывать хворост и плакать, повторяя: «Что мы будем делать, Готфрид! Как ты уйдешь отсюда?.. вот скоро полночь, придут проклятые старухи!» — «Ну что ж, моя Мариола, я опять спрячусь за занавеску...» — «Ах, невозможно! Там ты мог скрыться только от Замета, но старухи прежде всего идут к этому ущелью, тут спрятаны их корни, они тебя увидят, и тогда погиб ты, погибла и я!» — «Мы выкупим у них жизнь нашу, Мариола, я богат и осыплю их золотом!» — «Увы, Готфрид! Нет суммы, которая могла бы заплатить им за тайну, которую они скрывают с незапамятных времен в глубине этого страшного оврага; она охраняется только тем, что всякий — кто проникнет сюда или в долину, в ночь полнолуния, непременно лишается памяти и разума на всю жизнь. Эта участь ожидала и тебя, но, к величайшему счастью твоему и моему, ты упал на уступ и свалился к преддверию нашей пещеры в такое время, когда никого из них не было в ней; я тотчас узнала тебя, потому что видела в ночь полнолуния, как ты лежал, притаившись в одном из кустов. С того часа я ни на минуту не забывала тебя, всегда думала о тебе, и всегда образ твой был передо мною; но только мне казалось, что взор мой привел тебя в ужас; ты счел меня за демона и упал в обморок. Возвратясь в пещеру, я столько плакала и так усиленно просила, чтоб меня не брали более на долину, что старухи, разбранив меня жестоко, согласились наконец поручить мне варить вот эти составы, а ту, которая до меня надзирала за этим делом, стали брать с собою; это была очень старая женщина, которая никак не могла мне простить, что я лишила ее покойного места близ огня. Я много вытерпела от нее, но наконец смерть прекратила ее вражду; это уже было давно, милый Готфрид, четыре года прошло тому, если не более; я не переставала думать о тебе, любила тебя, но никак не надеялась когда-ни-

будь увидеть, — как вдруг ты, к смертному испугу моему, упал без жизни и чувства на площадку перед входом в пещеру. В первую минуту я не знала, что делать: спрятать тебя так, чтоб никто не видел — нельзя было, потому что старухи и Замет осматривают по нескольку раз в день все кусты вокруг пещеры на большое расстояние, итак, мне оставалось перенести тебя в пещеру, что я и сделала с такою силою и поспешностью, о которых теперь не могу даже иметь понятия: мне как будто помогало что-то невидимое. Я положила тебя на эту постель из трав и, не теряя ни минуты, остригла плотно все твои густые волосы на теме, проворно натерла его драгоценным составом, главным сокровищем, которого наши старухи с невероятными трудами, стараниями и неусыпным смотрением извлекают из многих корней самую малую часть и берегут его гораздо более, нежели собственную жизнь, потому что оно доставляет им способы иметь все выгоды жизни, — и содержать многочисленные племена нашего рода, повсюду скитающегося. Я знаю, что сила этого состава уничтожает действия всякого яда, даже и того, которым мои мучительницы отнимают память и разум у несчастных, случайно заходящих на нашу долину в ночь полнолуния. Успокоенная в рассуждении тебя, я собрала остриженные волосы твои, омочила концы их в густую мазь, собираемую тоже из трав, но только не душистых, и приложила их опять к тому месту, откуда выстригла; клейкий состав был довольно крепок, чтоб устоять против того действия, которое должно было производиться над тобою, когда придут наши старухи и увидят тебя в пещере. Через час страшные ведьмы нахлынули и при первом взгляде на тебя подняли страшный вой и вместе хохот... «А! Погиб сумасброд! Не будет более таскаться в нашу долину!.. Сатана взял свое. Что он, совсем умер? Как он здесь очутился?» Я сказала, что ты упал на уступ и оттуда на площадку. «Жаль, что не прямо в пропасть, — сказали почти все хором. — Ну, да все равно... поднимите ему голову». Одна из старух села подле тебя и взяла твою голову к себе на колени; другая достала из горшка еще кипящий состав жесточайшего яда, который в одну секунду

сушит мозг и невозвратно лишает разума. «Что нам терять по-пустому время, сестры? — сказала та, которая держала мазь, — втирать будет долго, приложим просто вроде пластыря на все тело, вот и дело с концом». — «И прекрасно! А сверх того безопаснее для нас. Спасибо за выдумку, теперь всегда будем так делать, если случится. Против этого способа, будь мозг железный, так не устоит. Спасибо! Спасибо!» Повторяя свою благодарность, старухи проворно намазали толстый слой теплого яду на кусок холстины, приложили тебе на темя и привязали платком. «Ну, теперь кончено, — сказала старуха, державшая голову твою у себя на коленях и складывая ее обратно на подушку, — кончено, до нового полнолуния он будет в непрерывном беспмятстве, а там откроет глаза для того только, чтоб смотреть не понимая, что видит!.. Ништо! Не таскайся, не подсматривай».

Окончив с тобою, старухи ушли, задвинув двери засовом; я не смела дотронуться до адского пластыря, приложенного к голове твоей, хотя и думала, что он несколько ослабит действие целебного состава, которым я натерла тебе темя; впрочем, это было одно только опасение, а не уверенность, потому что нет ничего чудеснее этой мази: она возвращает юность, свежесть и красоту лицу, давно устаревшему, давно все потерявшему; она восстанавливает силы и обновляет жизнь людей, которых лета, болезни, истощение привели уже на край могилы. От них веяло холодом смерти, и они от одной капли этой мази или элексира начали жить снова. Я никогда не могла б сама по себе узнать чудного свойства этого состава, трудности его доставать, невозможности иметь много, — и по этому самому, неслышанной его дороговизны (он продается на вес бриллиантов); но случилось, что старухи и Замет, почитая меня спящею, разговорились об растении, дающем эту драгоценную мазь; их удивление, их восторг, рассказ Замета о действиях состава, о несметных суммах, которые заготавливают ему тайно жида пограничных городов, даже с согласия своих кагалов, все это открыло мне, какое неоцененное сокровище растет вокруг нашей долины. С того времени, я и сама не знаю для чего, стала откладывать по одному или

по два тоненьких корешка этой травы и прятать под изголовьем своего травяного ложа; варить этих кореньев мне было не в чем: из горшков, занятых другими составами, взять нельзя было ни одного, и я долго собирала заветные коренья, хотя и не надеялась сделать из них то употребление, на какое назначала». — «А на какое ж именно, милая Мариола, ты назначала их?» Мариола застенчиво потупила глаза, прижалась к груди моей и сказала шепотом: «Я хотела быть белою». Я вскрикнул от испуга, Мариола вздрогнула: «Что с тобою, Готфрид?» — «Ничего, моя дражайшая Мариола, совсем ничего! Но, для имени Божьего, не порти своего прелестного лица этою приторною, ненавистною белизною; если ты любишь меня, если дорого тебе мое счастье, останься такою, как ты есть: лучше твоего лица приroda ничего сотворить не могла; дай мне слово не портить моего блаженства и выбросить драгоценную мазь вон!» Мариола с удивлением смотрела на меня, однако ж в ту же секунду дала обещание не делать без моего согласия никакого употребления из драгоценной мази. «Но зачем выбрасывать, мой Готфрид; пользы ее неоцененны и бесчисленны; она возвращает разум тем, которые теряют его от этого яда, что был привязан к твоей голове; это одно уже доказывает, что мазь эта единственная в целом свете, и так пусть она останется у нас, — может на что пригодиться...» Вдруг Мариола горько зарыдала: «О, я несчастная! — воскликнула она, — говорю о будущем, а вот чрез час придут старухи и задушат меня собственными руками!...» Я схватил ее в объятия. «Мариола! Успокойся, радость жизни моей! Как можешь ты думать, чтоб малейшая опасность угрожала тебе, когда я с тобою? Все твои Мегеры и их Замет падут без жизни к ногам твоим прежде, нежели успеют коснуться до тебя хотя одним пальцем! Сделай милость, не плачь! Дверь что ли беспокоит тебя? Я вышибу ее, Мариола, сию минуту, если ты хочешь, только, ради бога, успокойся». Не думайте, любезный Эдуард, чтобы, обещаясь вышибить дверь, задвинутую железным засовом, концы которого упирались в гранитный камень, я говорил то, чего не мог сделать; сила моя была так велика, что даже вошла в пословицу в

моем отечестве. Болезненное состояние тела и духа несколько ослабили ее; но чудный состав, которым моя Мариола натерла мне темя, успокоя мой дух, возвратя разум, обновил и укрепил телесные силы до того, что я, казалось мне, в состоянии был бы сдвинуть гору с места. Итак, прижав к сердцу и поцеловав несчетное множество раз мою милую Мариолу, я пошел к двери, чтоб потрясти ее со всею силою, разрушить все преграды, каменные и железные. Предприятие мое удалось мне легче, нежели я ожидал. Завос был ни что иное, как очень толстый железный прут, который от времени и сырости был попорчен ржавчиною. Такая преграда могла удерживать одну только слабую руку молодой девицы. Дверь отлетела, и вдребезги расшибленный прут лежал у отверстия. Мариола прыгала от радости: «Теперь прощай, Готфрид! Иди скорее отсюда!» — «Нет, моя Мариола, теперь ты позволишь мне остаться здесь, неподалеку от пещеры, чтобы я мог защитить тебя в случае жестоких поступков с тобою твоих фурий!» — «Нет, нет, Готфрид! Сохрани тебя бог! Я умру от страха, если буду думать, что ты близ пещеры! Ступай домой, и если точнолюбишь меня, как говоришь, уезжай сегодня же навсегда из этой стороны!» Говоря это, Мариола плакала на груди моей и трепетала как лист. Хотя горесть Мариолы очень трогала меня, но состояние духа моего было в совершенной противоположности с ее. Я никак не мог убедить себя в ответственности ее опасений и был столько счастлив, что сердце мое почти изнемогало от избытка блаженства, его наполнявшего. «Мариола, ангел мой! Можешь ли ты выслушать меня покойно одну только минуту?» — «Говори, Готфрид! И после тотчас уйди, ради бога, уйди! Или я разобью себе голову об стену!» В этой угрозе, так мало приличной нежному возрасту и полу молодой девицы, слышалось столько отчаяния, что я понял наконец, каким ужасом была объята моя бедная Мариола от мысли, что старухи застанут меня в пещере. Я решился успокоить ее и на этот раз удалиться; с тем однако ж, чтоб на другую ночь опять прийти. «Ну, хорошо, моя Мариола, иду, сей час иду!» Между тем я вынул часы, оставленные у меня по какой-то странной честности

старых цыганок; но как они натурально должны были остановиться, то я решился выбежать к самому выходу пещеры, взглянуть на запад — и по его виду узнать, давно ль закатилось солнце. Я взял Мариолу за руку и вместе с нею вышел. Последние лучи солнца только что скрылись, и запад алел еще огнем их отблеска... было не более осьми часов. «Видишь ли, моя Мариола,— сказал я, обнимая моего бесценного друга, — видишь ли, как еще далеко до полночи: ровно четыре часа; час я могу пробить с тобою». Мариола, успокоенная видом только что наступивших еще сумерек, усмехнулась, ужас сбежал с ее милого лица, и она нежно склонила красивую головку свою на грудь ко мне, называя своим Готфридом. Я утопал в блаженстве.

Однако ж, стараясь овладеть собою, я вырвался, так сказать, из пучины восторгов, меня поглощавших, чтобы спросить Мариолу о вещах, от которых зависела ее безопасность — и, следовательно, моя жизнь, мое счастье, мое все! Я хотел было остаться пред пещерою, чтобы дышать свежестию вечернего воздуха; но вид мрачного оврага, которого длина и глубина, казалось, не имели конца, наводил ужас моей Мариоле; она говорила печально: «Уйдем в мою темницу, Готфрид! Все она лучше этой страшной пропасти, ее и вид открытого неба не может скрасить... О, как она неизъяснимо ужасна!.. Вся кровь моя стынет... Уйдем, уйдем, Готфрид!» Мариола увела меня в пещеру; огонь уже погасал под очагом, я бросился было разводить его, но Мариола остановила меня. «Часа на три или, лучше сказать, до полночи огонь не должен гореть, и составы в это время остаются чуть теплыми. Так приказывают старухи, и Замет строго смотрит, чтоб это исполнялось в точности». После этих слов Мариола зажгла род какого-то ночника страшной формы и, сев со мною на листовную постель, прильнула милою головкою к моему страстному сердцу. «Не лучше ль мы сделаем, милая Мариола, если уйдем ко мне сию минуту и тотчас же уедем в Прагу? Мы будем далеко, прежде чем Замет придет сюда; а тогда что тебе может сделать его бессильное бешенство? Под мою защиту ты безопасна от всех его преследований». — «Ах, что ты гово-

ришь, Готфрид! Нет, не обманывайся! Если только ты уведешь меня, — дни твои сочтены тогда! Никакое место и никакая сила не укроет тебя от мщения ужасного Замета и еще более ужасных старух!.. Они имеют какие-то средства везде все знать, всюду проникнуть; они могут вносить вред, беды и самую смерть в такие дома, в которые никогда во всю свою жизнь не были впускаемы; они теперь уверены, что проклятый состав их лишил тебя навсегда разума и памяти и что ты им более не опасен; но когда я уйду с тобою, то прежде, нежели мы проедем двадцать верст, вперед нас уже будет Замет, и первый взгляд на тебя откроет ему истину и тогда, Готфрид, поверь мне, где бы ты ни был, они будут уметь достать жизнь твою!.. Знаешь ли, какой из их составов расходуется и ценится дороже самого драгоценного? — тончайший яд, который умерщвляет запахом в одну секунду, не оставляя ни малейших признаков насильственной смерти. Я что-то много слышала об этом, когда Замет давал отчет старухам в своем торге, описывал необычайный успех продажи и те таинственные предосторожности, с которыми она производилась... Он очень много рассказывал, но только я почти ничего не поняла».

Рассказ невинной Мариолы давал мне уразуметь, что в пещере скрывается злодейское общество, разгадавшее тайные силы трав, растущих на моей долине. Что оно употребило все роды ужасов, чтоб огласить долину заколдованным местом, и что преступные действия их должны были производиться давно и, может быть, даже переданы им их предками. Я спросил Мариолу, почему она думает, что при первом взгляде на меня Замет угадает, что его вредный состав не произвел на меня должного действия? «По тому свету ума, который так ярко блистает в глазах твоих, мой Готфрид! По тому выражению лица, дышащего силою души, которое никогда не может быть вместе с безумием!

Как бы ты скрыл от лютого цыгана этот отблеск небесных даров?.. Нет другого спасения, кроме поспешного отъезда в эту же самую ночь... отъезда в другое государство, — и навсегда... Они припишут это совету лекарей и, зная, что нет лекарства против их сатанинского состава, забудут о тебе».



Я слушал в молчании; ничто не было так далеко от мыслей моих, как исполнение плана Мариолы; однако ж было в нем нечто, входящее в мой собственный план: я точно должен был в эту же ночь уехать в Прагу, и мне только хотелось знать, не пострадает ли Мариола за отшибленную дверь и переломленную железную палку, которою она задвигалась. Но она успокоила меня, сказав, что не отвечает ни за что, сделанное снаружи. «Я заперта здесь, внутри пещеры; не должна, не могу и не обязана знать, что делается за нею или около. К тому ж, Готфрид, ты, как выйдешь отсюда, то постарайся затворить плотнее дверь и опять вложить концы железной палки в камень, — тогда уже Замет пусть думает, что хочет».

Когда я выходил с Мариолою из пещеры, в руке у меня были часы; я хотел было их завести, но забыл, и теперь сидя близ нее, все еще держал их в той руке, которою прижимал ее к груди. Вопрос Мариолы «Что это за вещь?» заставил меня вспомнить о времени. Я поспешил завести часы, поставя их на половине девятого и, видя, что если хочу обезопасить жизнь свою и обладание Мариолою, то должен разлучиться немедленно и тотчас же приниматься за действие. Я однако ж все еще медлил, — тяжело мне было оставить предмет страстных мечтаний, сильнейшей любви, радость жизни моей, — мою Мариолу. Она сама начала говорить: «Пора, Готфрид! Пора! Расстанемся! Счастья этого вечера довольно будет, чтоб усладить горечь остальной жизни моей! Я ни на минуту не перестану думать о тебе; но покойна и даже счастлива буду только тогда, когда узнаю, что ты оставил государство... дай мне эту награду, Готфрид, за мою услугу: я сохранила тебе более, нежели жизнь; заплати мне тем, чтоб никогда более сюда не возвращаться!»

«Еще одно слово, Мариола; здесь так много небольших ущелий, позволь мне осмотреть их. Я думаю, что наружную дверь будут запираť прочнее; на всякий случай хотел бы видеть, нет ли какого средства выходить отсюда, не трогая двери?» — «Пожалуй, но не думаю; да и на что тебе это? Ты не должен возвращаться сюда никогда, если не хочешь, чтоб я при глазах твоих бросилась с площадки прямо в

бездонную пропасть!» — «Имей же ко мне сколько-нибудь доверия, моя Мариола; я уже сказал, что все сделаю, как ты хочешь, и в эту ж ночь уеду из замка». Говоря это, я охватил стан Мариолы и увлекал ее с собою от одного углубления к другому, освещая каждое ночником и осматривая с величайшею тщательностию; малейшая трещина не ушла б от моего внимания, если б хоть одна была в глазах; но совершенная гладкость проклятых углов начинала приводить меня в грустное расположение духа. Отыскать другой выход, тайный, никому не известный, было мне так необходимо, как дышать; по расположенному уже в разуме моем плану действий, выход этот ручался бы мне за безопасность Мариолиной жизни; — без этой уверенности я не мог ни на что решиться, ни за что приняться! Без этой уверенности я не выйду из пещеры! — останусь в ней или унесу с собою Мариолу против ее воли!.. Утверждаясь с каждою минутою более в сумасбродном предприятии, на случай, если не отыщу средства проложить другой путь, кроме двери, я однако ж продолжал осматривать мрачные закоулки: пещера была обширна, и их оставалось еще довольно. Взглянув на один из них, я чуть не предал его проклятию, так досадна показалась мне почти полированная гладкость его стен, — тут нечего уже было и заходить, я миновал его; но в ту минуту масло, в ночнике растопившись, обожгло мне руку; я торопливо поставил его на пол в отверстии гладкого ущелия, и когда стал прямо против него, то показалось мне, будто что-то блеснуло сквозь камни... Право, мне кажется, что я вскипел тогда от радости: так быстр и непомерен был восторг, от которого я чуть не задохся. Не имея силы сказать ни одного слова, я заслонил своим телом свет ночника и, не переводя дыхания, старался навесьть взор свой опять на ту точку, которая блеснула, надобно думать, сквозь какую-нибудь незаметную расщелину. Наконец я успел; точка блеснула снова — и я увидел, что это звезда! Вы теперь еще не поймете великости моего восхищенья; но конец рассказа покажет вам, любезный Эдуард, какую необъятную цену имело для меня это открытие. Я просил Мариолу подать ее огромную кочергу,

которую она поправляла дрова и которая более прилична была исполину-Замету, нежели моей бедной Мариоле. Она, не говоря ни слова, притащила мне ее.

Я справедливо заключал, что если между камнями есть расселина сквозная, то легко может быть, что она простирается из края в край, и камень держится на другом камне собственною только тяжестью. Судьба, по-видимому, устала гнать меня и теперь принялась усердно служить. Я поднялся ночью вплоть к камням и увидел, что они просто лежат одни на других; упер железную кочергу близ расселины, в которую проходил свет снаружи, и, напрягши все силы, двинул камень с места: он подался, плавно пошел; я продолжал выдвигать его... между тем Мариола с изумлением и страхом смотрела на мой подвиг. Наконец она схватила меня за руку: «Что ты хочешь делать, Готфрид? Неужели разломать пещеру?» — «Нет, Мариола! Нет! Но позволь мне кончить... Да прежде скажи, Замет осматривает внутренность пещеры так же, как и ее опрятность?» — «Нет, никогда... ведь уж верно ему и во сне не снилось, что пещеру можно разломать изнутри?» Я заметил, что Мариола как будто усмехалась, говоря эти слова. Ее веселость обрадовала меня до восхищения; я сжал ее в объятиях, воскликнув: «Мариола! Небо милостиво к нам! Оно избавит тебя от злодеев, и этою новою дверью ты выйдешь». — «Куда? Куда? Боже мой! Что ты говоришь, куда я выйду! Как будто я могу выйти! Ах, Готфрид! Ты опять за свое! Неужели же ты не можешь понять, что бедная сирота Мариола должна жить и умереть в этой мрачной пещере; что ей известна тайна, за которую в залог жизнь ее! Меня доставнут из царского чертога, не только из твоего замка!.. Но что всего ужаснее, что прежде, нежели исторгнут жизнь мою, сделают свидетельницею твоих мучений, — и каких мучений!.. Разум твой и ничей в свете не силен представить себе, что это такое...» — «А, так твои тираны еще и смертоубийцы?» — «До сих пор я не слыхала, чтобы они обгарили руки свои кровью людей, — они довольствовались только лишать их ума и памяти; но у них есть закон и вместе клятва, которою они обязываются, несмотря ни на

родство, ни на дружбу, терзать лютейшими муками того, кто изменою или собственными стараниями откроет тайну их составов и, следовательно, торго и доходов». Слова Мариолы еще более утвердили меня в моем плане. Поцеловав ее с нежностью, прося ничего не опасаться и не мешать мне, я продолжал управляться с камнем и наконец имел удовольствие слышать, как он полетел в бездну... открылось чистое, голубое небо и яркие звезды! В первую минуту Мариола обрадовалась; она всплеснула руками, вскрикнув: «Ах, как это весело!» Но в ту ж минуту прибавила печально: «Что ты сделал, Готфрид! Что подумает Замет? Засов переломлен, огромный камень вышибен! И за последнее уж непременно будут меня допрашивать: как это случилось? Кто выдвинул камень? Что я скажу!» — «Успокойся, Мариола, я все сделаю так, что никто не приметит». Я взлез к отверстию и увидел, что около утеса, в котором была пещера, вилась тропинка, аршина полтора шириною. Я вспрыгнул на нее, и сердце мое облилось кровью, когда я услышал, как отчаянно закричала Мариола. Пространство, на котором я стоял, было б очень достаточно, чтоб на нем держаться твердо и безопасно, если б оно не было над пропастью, не имеющей дна. Признаюсь, что голова моя кружилась при виде адской бездны. Однако ж стараясь держаться вплоть близ утеса и не смотреть вниз, я успел оправиться. Занявшись своим делом, скоро отыскал, что мне было нужно. Множество небольших камней лежали то там, то сям на узкой дороге. Я собрал их, принес к отверстию и, собираясь бросить их туда, хотел было крикнуть Мариоле, чтоб она отсторонилась. Но вообразите мой смертельный ужас... теперь уже я вскрикнул и обмер от испуга! Мариола шла ко мне по тропинке, которая ко входу пещеры была вдвое уже того места, на котором я собирал свои камни. Не смея сделать шагу вперед, чтобы движением своим не развлечь Мариолы, я простер руки к ней, трепеща всем телом, — но Мариола усмехалась; она шла очень смело, легко перепрыгивала на большие камни, заграждавшие ей дорогу, не смотрела на пропасть и большею частию поворачивала голову к утесу, близ которого шла вплоть. Прошед узкую

тропинку, Мариола побежала бегом ко мне и так быстро, что я не имел времени испугаться еще более, как она уже лежала на груди моей, целуя ее и называя меня «своим Готфридом»! Кто бы мог поверить, что эту минуту, на краю ужасной пропасти, близ вертепа злодеев, среди страшного леса, я был счастливее блистательнейших монархов в свете!

Наконец восторг мой утих. «Жестокая Мариола, — сказал я, целуя с нежностью прелестные черные глаза ее, — как могла ты решиться навести мне такой ужас?» — «А ты, Готфрид, разве пожалел меня, когда вдруг исчез вслед за камнем?» — «Ну, полно, полно, моя Мариола! Некогда нам упрекать друг друга; позволь, я помогу тебе воротиться в пещеру ближнею дорогою». Я поднял Мариолу за руки и как легкое перо посадил в отверстие. «Теперь, мой друг, спрыгни вниз и отойди в сторону, я буду бросать камни в пещеру и когда будет довольно, то сюда же взлезу сам». Мариола послушалась. Бросив десятка четыре камней средней величины, я взлез к отверстию и увидел, что моя Мариола, прижавшись у стенки, с удивлением смотрит на груды набросанных камней. «За работу, мой милый друг, — сказал я, обняв ее страстно, — за работу. Подавай мне камни, которые ты в состоянии поднять: это будет фундамент нашего благополучия, основа счастья всей жизни нашей».

Мариола была сильнее, нежели я думал: только пять камней осталось, которые хотя она и могла пошевелить, но не в силах была поднять. Я соскочил, проворно взбросил их к новой стене, мною складенной, и, вспрыгнув туда сам, поместил их по приличным местам. Составная стена не пропускала свету снаружи и была довольно крепка, чтоб противустать напору ветра или порыву бури; но ее легко можно было вытолкнуть изнутри таким способом, каким я выдвинул большой камень.

Окончив мою работу, я соскочил на пол. Ущелье, так хитро переделанное, было совершенно закрыто выдавшимся углом, и огонь самый большой не мог осветить его несколько. Объяснив это обстоятельство Мариоле и не отвечая на непрерывные ее вопросы «для чего эта новая стена?», я сел с нею на ту постель, на которой так долго лежал

в мертвом оцепенении, наведенном борьбою злодейского состава с силами целительного. Обняв Мариолу, я смотрел с минуту в эти прекрасные, черные, как агат, блестящие, как бриллиант, глаза, — потом сказал: «Я иду, Мариола! Исполняю твою волю, слушаю твоего совета! Расстаюсь с тобою потому только, что ты этого хочешь: сам по себе я поступил бы иначе! Но сделай же и ты для меня то, о чем я попрошу тебя...» — «Сию минуту, Готфрид! Все, что тебе угодно». — «Хорошо, моя Мариола! Я требую, чтоб в будущую ночь полнолуния, как только старые цыганки уйдут в долину, ты в ту ж минуту вытолкнула эту стену; наскоро заложил камни как-нибудь и спрячься под те кусты, которые растут на уступе, но только старайся подлезть под самые корни их и останься там несколько времени; оно не будет продолжительно. Более же всего храни молчание, что б ни случилось в пещере, около ее или близ твоего убежища. Вот, моя Мариола, какого смелого поступка я от тебя требую; от исполнения его зависит моя жизнь: можешь ли решиться спасти мне ее таким способом?» Мариола трепетала всем телом; но голос, каким она сказала, что в точности сделает то, чего я желаю, был громок и тверд; в нем слышалась решимость.

Я посмотрел на часы: было четверть десятого. Пора! Настало время разлуки и опасных действий. Я прижал еще раз мою Мариолу к груди, поцеловал уста и глаза, и, наконец, сказав последнее прости, пошел решительно и скоро к темному выходу; но Мариола меня позвала: «А как же ты взойдешь на уступ, Готфрид? Ведь он высок, земля тверда и гладка». — «Я ухвачусь за ветви, которые свесились над входом». — «Да ведь есть другой уступ, с которого ты соскочил на нашу крышу. Я об том говорю». — «Ах, правда! Я и забыл; но как же всходит Замет и цыганки?» — «Так же, как и ты сейчас взойдешь», — сказала Мариола, убегая во внутренность пещеры; чрез полминуты она возвратилась, неся в руках род длинных перчаток с железными крючками. «Вот мои когти, Готфрид, возьми их; посредством их ты взлезешь на какую угодно гладкую стену, земляную только». Я смотрел с удивлением на этот наряд; между тем Ма-

риола надела мне его, вытянула гладко и застегнула пряжкой. У меня были большие дьявольские руки с длинными черными ногтями.

«Ужас какой, Мариола! Неужели ты их надевала?» — «А разве я могла не надевать их? Надевала, и ты сам видел их на мне, помнишь, как упал в обморок? С той ночи я не ходила на долину, и когти достались старухе. Она умерла, и теперь они пока лишние». — «А скоро ли опять понадобятся?» — «Будущеею весною. Прежде этого времени не явится цыганка, назначенная на место умершей... однако ж, прости, мой Готфрид! Ступай скорее!» Я и сам уже видел, что если не хочу погубить себя и Мариолу, то должен действовать как можно скорее. С тяжелым вздохом обнял я мою милую подругу, моего ангела ненаглядного и бросился опрометью вон; выбежав из пещеры, я поспешно затворил ее дверь, вложил концы изломанного засова, где они были, и крепко сдвинул перелом на середине.

Благодаря когтям Мариолы, я взбежал как белка по отвесной стене двухсаженного уступа. Минуты с две помучился, снимая сатанинские перчатки, которых пряжку не умел отстегнуть, а разорвать было довольно неудобно: они растягивались до бесконечности. Наконец я сорвал их и бросил в середину густого кустарника, приняв предосторожность подбить их под коренья на всякий случай; кто знает, по каким местам скитается ужасный цыган: Мариоле не жить, если б эти когти попались ему на глаза.

В замке у меня едва не одурели от радости, когда я вошел; особенно старый управитель и кричал и прыгал, плясал и плакал; бросался к ногам моим, бегал по горнице, хохотал и, наконец, кончил тем, что, обняв колена мои, рыдал несколько минут не переставая. Последнее его действие было мучительно для меня, потому что я необходимо должен был представлять помешанного и ни малейшим знаком не показать, до какой степени трогала меня столь искренняя привязанность; но нечего было другого делать, и вот я вместо того, чтоб поднять старого слугу, успокоить его, сказать ласковое слово, отворотился, приговорив отрывисто: «Коляску!.. Лошадей!.. в Прагу! Сию минуту!» Я

ушел в свою спальню, чтоб не слышать радостных восклицаний управителя, непрерывно повторяемых «В Прагу! О счастье! Там столько лекарей! Там и матушка ваша! Сам Бог вас надоумил, любезный барон! Да, в Прагу, в Прагу! И сию ж минуту... но только я еду с вами, непременно! Хоть бы вы меня убили, а я все-таки поеду с вами! Как вас пустить одного!»

Я внутренне радовался решению доброго старика ехать со мною. Это давало вид, что он сам распорядился этим отъездом и везет меня, как отчаянно больного, в столицу, где можно найти скорую и искусную помощь. Еще не рассветало, а мы были уже далеко от моего замка. Я однако ж считал необходимость продолжать мое притворство перед старым управителем и, чтоб лучше успеть в этом, решился в продолжение всей дороги не отвечать ни слова на все его вопросы и предложения — подкрепить себя пищею. Только к концу другого дня я вынужден был сказать ему, чтоб он дал мне кусок белого хлеба и стакан вина, потому что я Бог знает уже как был голоден. Чрез три дня карантин мой кончился: мы приехали в Прагу. Я знал, что управитель прежде всего уведомит матушку о моем приезде; а как мне это только и нужно было, то я оставил ему свободу действовать. Через час мать моя в неописанной горести поспешно вошла ко мне в кабинет.

Оттолкнув управителя, который следовал за матушкою, ломая себе руки, я запер дверь, открыл лицо и бросился к ногам матери, обнял колена ее. Правду говорила Мариола, что свет ума и сила души, озаряющая черты человека, владеющего всеми своими умственными способностями, ни сколько не совместны с безумием. При первом взгляде горесть матери моей заменилась восхищением. Она прижала меня к груди своей: «Благодарение Всевышнему, мой Готфрид, мой сын милый! — говорила она, проливая слезы радости. — Благодарение Всевышнему, ты здоров совершенно! Здравее, нежели был когда-либо! И как ты похорошел! Какой вид! Какой блеск глаз!... Ты совсем, совсем стал другой!.. Да будет благословенно имя Господне за такое видимое милосердие!» Матушка то обнимала меня, то рассмат-



ривала, любовалась, плакала и опять обнимала. Наконец порывы радости ее утихли несколько, и она могла покойнее разговаривать. Тогда она спросила меня, что значило, что старый управитель прибежал к ней в совершенном отчаянии. «Ты не поверишь, милый Готфрид, какого вздору наговорил мне этот глупец! Он насмерть перепутал меня». Тогда я объяснил матери моей, в чем состояло дело, и что для беспрепятственного успеха в счастливом окончании его непременно надобно ей самой утвердить всех в том мнении, что меня привезли в Прагу, лечить от расстройства в рассудке.

Когда мать моя узнала, как я близок был к тому, чтоб разум мой угас навеки от губительного состава старых цыганок, то она, рыдая, прижала меня к груди своей и призвала небо в свидетели, — чего бы ни потребовала моя избавительница, все будет непременно исполнено. «Говори, мой Готфрид, говори, что я могу сделать для нее? Чем могу воздать за услугу, которая выше всякой цены? Нужно ль отдать половину имущества? — наперед соглашаюсь на все вознаграждения, на все пожертвования, хочет ли быть моею дочерью? — Сию минуту готова подписать акт ее усыновления!.. Говори, милый мой, вразуми меня; я на все готова, все сделаю для той, которая сохранила мне сына моего».

Тогда я открыл матери тайну мою, открыл ей, что в Мариоле нашел я то существо, образ которого живет в душе моей со дня моего рождения; который никогда ни на секунду не выходил из мыслей моих, — которым день и ночь занято было мое воображение! Я готов был пасть под бременем невыносимых страданий, когда судьба, сжалясь, представила наконец ее глазам моим... «И теперь, любезная матушка, — говорил я, обнимая колена ее, — если Мариола не будет моею, то дар ее послужит только к тому, чтоб жизнь моя скорее погасла: в мучительном состоянии безнадежной любви, расстройство ума было б охранением жизни моей, ибо сумасшествие притупляет силу душевных ощущений; но теперь я только тем и дышу, о том мыслю, того жажду, чтоб назвать Мариолу своею и не разлучаться с нею во всю жизнь!»

Пока я говорил, мать моя в молчании проливала источники слез; сильное волнение духа и страдание горделивой души, не совсем еще покорившейся высокой добродетели смирения, ясно изображались на ее прискорбном лице. Наконец она победила себя: «Будь счастлив, сын мой, так, как ты хочешь... я согласна на все!.. Правда, что ты умрешь для потомства и для отечества, но по крайней мере останешься жить для своей матери!»

Так кончилось важнейшее дело в моей жизни; я был счастлив, как только возможно и позволено человеку быть счастливу здесь — на земле. Две недели провел я в уединении; один только доктор, старинный и искренний друг моего покойного отца, знал истину и ездил к нам каждый день под видом моего пользования. В обществах не было другого разговора, как о молодом, богатом Рейнгофе, сошедшем с ума от любви. Дав время распространиться этому слуху и занять все умы, я просил, наконец, мать мою открыть нашу тайну и объяснить все дело кому следует, и вместе с этим просить пособия в исполнении моего плана. Все сделалось по желанию: послан был отряд солдат к границе; маршрут его был рассчитан так, что дневка его приходилась в моем имении. Офицеру отдано было секретное повеление исполнять все, что я потребую, и вверить мне отряд на такое время, какое мне нужно будет. Отряд выступил и следовал большою дорогою. Ничего не было необыкновенного в том, что мать моя через два дня выехала со мною и отправилась по этой же самой дороге; мы ехали в наше имение: доктор предписал лечиться в деревне; не было также причин подозревать и в том ничего, что коляска моя одним только переходом отставала от отряда, потому что больного нельзя везти скоро.

По моему расчету, для несомненного успеха надобно было отряду и мне прибыть ровно к восьми часам вечера, в ночь полнолуния, и в ту ж минуту приступить к действию. Солдат разместили по квартирам, где они, поужинав, сей же час, под видом сильной усталости, ушли на сени спать, выпросив себе каждый у своего хозяина его сермягу, чтоб одеться вместо одеяла. В деревнях успокаиваются рано. В

половине десятого все селение погружено было в глубоком сне. Тогда солдаты оставили потихоньку свои постели и, надев каждый хозяйскую сермягу, которою укрывался, взяли по пистолету, заряженному холостым зарядом, и пришли вместе с своим офицером к калитке моего сада, где я ожидал уже их. Все в минуту отправились на место действия, в проклятую долину. Дорогою я объяснил им, кого они увидят и что им должно будет делать. К счастью, отряд состоял все из одних старых солдат, которые не испугались бы и настоящих дьяволов, не только старых цыганок в сатанинском костюме.

Я сказал всем солдатам, что как только старухи кончат свою пляску и разные бесовские эволюции и примутся выдирать когтями коренья трав, я выстрелю из пистолета, чтоб они в ту ж секунду стреляли все вдруг и, поспешно выскочив из своих мест, бросились на цыганок, перевязали их и вели ко мне в замок.

Одиннадцатый час был уже на исходе, когда я привел своих солдат на долину. Их было всех тридцать человек, — более, нежели нужно для приведения в ужас и поимки одиннадцати старых ведьм. Я разместил моих ветеранов по кустам так симметрически, чтоб, когда они выскочат из этой засады, старухи увидели себя в кругу их. Окончив эту работу, занявшую у меня не более пяти минут, я оставил себе четырех человек, которые показались мне сильнее других, и с ними бегом пустился к пещере... Теперь, когда я рассказываю вам, любезный Эдуард, то, что уже кончилось и миновалось, теперь могу признаться, что я действовал под влиянием и руководством какой-то невидимой силы! Не могу иначе считать, как сверхъестественною, ту скорость, с которою отыскал пещеру, и ту, с которою дошел до нее. Я привел моих четырех спутников на край оврага, велел им спрыгнуть на ветвистый навес, ухватиться после за концы ветвей; спуститься на площадку у входа пещеры и постараться хорошенько спрятаться между камнями, ее окружающими. Сказал им, чтоб они оставались покойно на местах, что бы ни делалось в пещере и кто бы не выходил из нее до того времени, как они услышат пистолетные выстрелы

в долине: тогда чтоб они устремили все свое внимание на этот уступ, с которого они соскочили. На нем покажется человек и тотчас спрыгнет на площадку. Чтоб они старались его схватить, а особливо удержать, потому что им надобно будет иметь дело с человеком силы необыкновенной.

Я возвратился в долину за пять минут до двенадцати часов; осмотрев наскоро свою засаду и увидя, что все на местах, я поспешил скрыться сам и только что успел сдвинуть над собою ветви куста, в который спрятался, раздалось вдали завыванье; близилось, становилось слышнее, наконец замолкло, старые цыганки с шумом вторглись в круг и начали свою пляску, шмыгая быстро от одного куста к другому; наконец чертовское представление кончилось, старухи принялись за самое дело, то есть начали выдирать когтями корни трав, когда я выпалил из пистолета, и в ту ж секунду все выстрелы раздались залпом.

Без малейшего знака жизни старые цыганки упали на землю все до одной; их перевязали бесчувственных и потащили как могли, в полном чертовском наряде, потому что недоставало искусства моим солдатам, чтоб снять с них этот наряд. Мне ж было совсем не до того, — я заметил, что как только раздался мой выстрел, что-то как молния мелькнуло чрез поле к лесу и понеслось чрез него с быстротою и силою бури; сучья трещали, ломались, хрустели; по лесу раздавался гул от стремительного бега неистового существа, в котором я подозревал страшного цыгана, и конечно, он бежал излить весь пыл своей ярости и мщения на Мариолу. Я бросился вслед и прибежал в самое время; цыган соскочил с навесу на площадку и попался в руки моих четырех солдат; но не такова была сила его, чтоб они могли справиться с нею: одним взмахом руки он едва не бросил в бездну двух солдат; они упали как два дерева и остались без движения; в эту минуту я спрыгнул на площадку, и цыган в свою очередь упал, оглушенный ударом моей руки, изрыгая кровь ртом и носом. Солдаты связали его крепко, как позволяли им их силы, и, приведя в чувство своих товарищей, положили себе на плечо побежденного испо-

лина, спрашивая меня, каким образом взнестись снова на уступ? Я сказал им, чтоб они положили свое бремя на землю и наделали ступенек в стене своими саблями; что хотя это и неудобная лестница, но что нет другого средства выдти из этого вертепа.

Солдаты принялись за работу, а я с трепетанием сердца приподнял лиственный навес на кровле уступа. Кто опишет восторг мой, когда милая ручка Мариолы вытянулась ко мне из-под самой густоты ветвей; корпус ее был почти под корнями, между тем как я страстно целовал руку Мариолы, ожидая с нетерпением, когда солдаты сделают себе удобный вход на уступ. Мариола вдруг закричала пронзительно и заплакала. Солдаты в ужасе остановились. Мариола спешила вылезть из своего убежища; я выхватил ее на руки и, трепеща всем телом, жал к сердцу, не смея спросить — что с нею? Я думал, не змея ль ужалила ее. Но она, рыдая, показала на пропасть и насилу могла выговорить: «Замет! Несчастный Замет!» Тогда я увидел, что цыгана нет на площадке. Некуда было ему более деваться, как укатиться в пропасть; глухой и дикий стон, едва слышный из глубины чернеющей бездны, оправдал мои заключения, а Мариола, плача, говорила, что она видела, как он катился к краю; что он бросил на нее взгляд, который жжет мозг ее! Что взгляд этот сильнее слов назвал ее предательницею своего племени, его убийцею! Я старался утешить и успокоить Мариолу, представляя ей, что не было другого средства спасти мою жизнь, как отняв у этой шайки злодеев способности вредить; что их жизнь, хотя исполненная преступлений, будет однако ж им оставлена и их лишат только свободы. «Неужели, милая Мариола, ты хотела бы лучше видеть живым Замета, а мертвым меня?» Мариола вскрикнула от ужаса и прижалась к груди моей. «Ну, так перестань же плакать и укорять себя в смерти злодея, с которым у тебя не могло быть ничего общего; хотя страшный конец его приводит и меня в содрогание, но как на это была воля Божия, то мы должны благоговеть пред Его святым промыслом».

Мариола успокоилась. Лестница была окончена, и мы все благополучно выбрались наверх. «Что ж теперь будет со мною?» — говорила Мариола, смотря со страхом в чащу темного леса и на суровые лица солдат. — «То же, что и со мною, моя Мариола! Мы придем ко мне, в мой замок к моей матери, которая будет тоже и твоею матерью. Завтра поедем в Прагу; там обвенчаемся и будем счастливы!» — «Неужели это не сон? — говорила Мариола шепотом, — неужели все это будет? Возможно ли, чтоб мать твоя решилась назвать меня дочерью! Меня — бедную, черную цыганку!.. Ах, Готфрид! Для чего не хочешь ты, чтоб я натерла лицо драгоценным составом? У меня был бы цвет кожи, как у знатных дам!» — «Полно, полно, Мариола! Ради Бога, и не думай об этом? Где у тебя этот состав?» — «Вот здесь», — сказала Мариола, вынув из кармана маленькую баночку, в которой было палевого цвета мази не более чайной ложки. Я хотел было бросить ее в кусты; но минута размышления меня удержала; и это было к счастью вашего Мограби, любезный Эдуард! А вместе и моему, потому что совесть не переставала укорять меня за жестокое испытание, которому, в угодность мне, подвергли вы вашу собаку. Уж верно, думал я, Мариола из любви ко мне не согласится сделать того, что мне неприятно; на всякий случай, пусть эта драгоценная мазь останется у меня.

Подходя к замку, я увидел, что в нем никто уже не спал, потому что он был весь освещен; матушка дожидалась меня на крыльце; по радостному виду всех моих людей я догадался, что мать моя успокоила уже их насчет моего совершенного выздоровления. Связанные цыганки были заперты в большом сарае; но как в нем были отверстия для воздуха, то видно, что сквозь них увидели они Мариолу, шедшую со мною об руку: страшный вопль и тысячи проклятий заставили меня и Мариолу стрелою броситься в комнаты; матушка вбежала за нами; Мариола хотела упасть пред нею на колени, но добрая матушка не допустила; она обняла ее, прижала к груди, назвала своею милою дочерью, спасительницею своего Готфрида! «Также и твоего Готфрида, моя милая Мариола», — прибавила матушка, по-

молчал с минуту. По взору ее, устремленному к небесам, я угадывал, что мать моя испрашивает сил свыше; и надобно признаться, что как матушка не моими глазами смотрела на мою бесценную Мариолу, то и видела ее ничем другим, как цыганскою девочкою, одетою в рубище, закоптевшую от дыма, покрытою золой... и эту девочку надобно называть дочерью, супругою сына своего, баронессою Рейнгоф!.. Я не винил бы мать мою, если б она взяла назад свое слово; но тем не менее решился непременно жениться на Мариоле, не дожидаясь ее согласия.

«Позови ко мне моих женщин, Готфрид», — сказала матушка, сев в кресла и посадя близ себя Мариолу. Я повиновался. Женщины пришли все. «Эта девица, — сказала им мать моя, показывая на Мариолу, — сохранила жизнь вашему господину; без нее его не было бы на свете». Женщины молча, но со слезами целовали руки Мариолы. Матушка была тронута таким знаком их привязанности. «Спасительница сына моего будет его супругою и моею драгоценнейшею дочерью; соображайтесь с этим и употребите ваши старания, чтоб к утру молодая госпожа ваша могла прилично занимать свое место между нами; через день мы отправляемся в Прагу. Теперь, милая дочь, прости до утра. Мне надобно успокоиться. Вот твои прислужницы: они сделают все, что для тебя необходимо. Прости, милая Мариола! Готфрид, проводи твою невесту до ее комнаты». Я пошел с Мариолою, которая, положив голову на плечо мне, шептала: «Уж верно это сон! Не может быть иначе!»

На другой день Мариола пришла к завтраку столь прелестною, что я вскрикнул от изумления, а матушка с искреннею уже нежностью обняла ее и назвала своею милою, прекрасною дочерью, своею доброю Мариолою. Прелестные глаза моего друга блистали молниями, дышали счастьем, томились негою и выражали столько любви ко мне, что я боялся уже потерять рассудок от чрезмерности моего благополучия, как прежде был готов лишиться его от неизмеримости бедствия.

Впрочем, несмотря на материнскую нежность баронессы Рейнгоф, оказываемую моей Мариоле, новость положе-

ния молодой девицы, до сего жившей в угнетении и рабстве, приводила ее в непрерывное замешательство; если я хоть на минуту уходил от нее, она изменялась в лице, глаза ее робко потуплялись в землю, она не знала, что делать; приметно было, что не смела пошевелиться на богатом диване, на котором сидела близ матери моей, и не смела поднимать глаза на нее. Только мой приход возвращал ей несколько бодрости; милая улыбка появлялась на устах, цвет оживлялся, глаза устремлялись на матушку с нежностью, на меня со всем огнем страстной любви.

Чтоб дать несколько развлечения мыслям Мариолы, я просил ее, чтоб она рассказала нам с матушкою о всем, что она знает и помнит из житья своего в черной пещере и по какому случаю она одна, столь еще юная, была в соннице старух, из которых самой младшей было не менее семидесяти лет?

«Я не помню почти ничего из первых годов моего детства», — сказала Мариола, придвинувшись ко мне ближе и положила обе свои руки в мою; казалось, по этому движению, что рассказ ее заранее наводит на нее страх, и она спешит укрыться под мою защиту. Я обнял тонкий и гибкий стан ее тою рукою, которая была свободна, и, сжав обе ее руки своею, сказал тихонько: «Теперь уже нечего страшиться, моя милая, ты со мной навеки; ты можешь рассказывать минувшее, как ты рассказывала сон». Мариола вздохнула. «Хорошо, если б это был сон...» — сказала она вполголоса. Однако ж я увидел, что печаль отуманила лицо ее и слезы затрепетали на ресницах; с минуту подождав, чтоб она управилась с грустным чувством, вдруг ею овладевшим, я напомнил ей, что матушка ее слушает. «Итак, милая Мариола, ты говоришь, что мало помнишь из первых годов своего детства?»

«Да. Когда я начала хорошо уже понимать все, то первое, что сделало сильное впечатление на детский разум мой, это была всеобщая ненависть всего табора к моей матери и то отличие, которое было как в одеянии матушки и отца моего, так и в содержании нашем: у нас все было несравненно лучше, нежели у них; были все удобства жизни, пре-



красная палатка, пуховые постели, хорошая посуда; вкусная и изобильная пища; палатку нашу охраняла огромная датская собака с прекрасным ошейником. При перемене места мы ехали в покойной повозке; на другой vezлись наши пожитки и палатка; отец ехал верхом на гордом и красивом коне; в повозке нашей тоже была пара лошадей — каретных, как называла их матушка; сверх того отец и мать моя почти никогда не участвовали в тех плясках, на которые приезжали смотреть знатные господа и богатое купечество; и это происходило сколько от собственного их нехотения, столько и от зависти их товарищей: «Вы слишком важны для нашей полевой, разгульной жизни, — говорили они, — вы более похожи на господ, нежели на цыган, так и живите по-своему; не мешайтесь в забавы для вас незабавные и благодарите нашему терпению, что мы до сих пор еще позволяем вам быть при нашем таборе». Но иногда мать моя должна была уступать настоятельным просьбам первых людей в городе, близ которого обыкновенно располагался табор; она имела голос, которому не было равного в его невыразимой приятности; даже та странная манера пения, принятая вообще всеми цыганками, в ее голосе не только не казалась неуместною, но, напротив, придавала ему еще большее совершенство. Ее упрасивали так убедительно, так неотступно и давали такую огромную плату за послушание, что не было никакого средства отказаться: мать моя пела, восхищала, очаровывала, брала большие деньги и — зависть шипела змеями во всех концах табора. Отец мой был повсюду, где только случилось нам разбивать шатры наши, известен под именем цыгана-короля. Иначе его нигде не называли, потому что никто не мог равняться с ним в управлении хором поющих и в пляске с саблею в руках; в этом последнем он был неподражаем: ловкость, величавость, геройский вид вместе с его высоким ростом и прекрасною наружностью приводили в такой восторг зрителей, что рукоплескания их и «браво!» не умолкали от начала до конца. Отец уходил в свой шатер, унося с собою кошельки, бросаемые ему богатыми зрителями во все продолжение его дивной пляски, и хотя он всегда от-

давал четвертую часть из них старшим для раздела между всеми, тем не менее однако ж громогласные проклятия всего табора сопровождали его в наш приют!

Не одно только недостижимое превосходство отца и матери моих над их племенем в тех упражнениях, которые дают цыганам возможность жить, было причиною зависти и ненависти их товарищей. Эти два чувства взялись издалека. Мать моя, быв еще девочкою лет четырнадцати, привлекла внимание одного знатного и богатого путешественника, которого пышный экипаж остановился неподалеку от шатров нашего табора. Место, где расположились цыгане, было дико, страшно даже, но вместе с тем и чрезвычайно живописно. Путешественник остановился для того, чтоб срисовать его. Лагерь цыган был тоже помещен на его картине; но мать моя показалась ему столько замечательною, что он непременно хотел изобразить ее впереди всей группы и с совершенным сходством. Он тщательно занимался своею работою целый час и наконец подозвал к себе старых цыган, спрашивая: «Кого узнают они из своих на его картине?» Старики вскрикнули от изумления. Мать моя была как живая на этом рисунке. Путешественник поцеловал ее и, дав ей полный кошелек золота, сказал, что дарит это ей на приданое и на память об нем, прибавя, что рисунок этот чудесен, и что он будет производить сильное действие на воображение всякого, именно потому только, что ее лицо тут изображено.

Путешественник уехал, и цыгане приступили к матери моей с требованиями, чтоб она разделила богатый подарок свой между всеми, на что она по неопытности и робости в ту ж минуту и согласилась было; но один из старших, почти столетний цыган, вступился за нее: «Стыдно вам идти к ней в долю! Она сирота, это дано ей на приданое, — оставьте ее!» Цыгане отступились, замолчали, но и возненавидели безвинную девочку. Вскоре после этого происшествия присоединился к табору нашему один молодой, видный и прекрасный собою цыган, который считался первым удальцом под многими шатрами наших племен. Это был отец мой; он с первого взгляда полюбил мать мою и,

дождавшись ее совершеннолетия, женился на ней. Я была первый и последний ребенок их: других детей у них не родилось. Они любили меня более, нежели я могу пересказать; с рук матери я переходила в руки отца; нежнейшие ласки, нежнейшие наименования встречали меня при пробуждении и сопровождали ко сну. Я была одета прекрасно и богато; кормили меня пищею вкусною и здоровою; игрушек было у меня множество; когда мы останавливались где, то меня тотчас сажали в маленькую коляску, и нанятая для услуг женщина возила меня по лугам между цветами или по берегу ручья.

Так жила я до семилетнего возраста. В один день табор наш остановился близ города, чрез который протекала большая судоходная река. Узнав, что на днях будет тут привоз разных товаров и продуктов, цыгане решились остаться на этом месте недели на две или более. Отца моего послали к начальнику города просить позволения для этой стоянки и подтвердили, чтоб возвращался как можно скорее для того, чтоб в случае запрещения расположиться на городской земле, табор мог заранее перейти в другое место. Отец мой, употреблявший все меры успокоить зависть и смягчить ненависть тех, с кем должен был жить, спешил исполнить поручение так скоро, как только мог.

Город, куда пошел отец мой, отстоял от наших шатров, сколько я могу понимать, более полумили. Отец совершил оба конца своего путешествия менее нежели в час и принес письменное позволение табору стоять близ города две недели. Тогда была самая середина лета и день так жарок, что мы едва дышали. В самую минуту возвращения отца моего одна очень старая цыганка, которую я не помню, чтоб когда видела прежде, поднесла ему кувшин холодного как лед пива, говоря, что это освежит его и укрепит силы. Отец поблагодарил за предложение и, сказав, что ему так жарко, как среди пламени, выпил все, что было в кувшине. Через три дня отца моего похоронили; он умер в жестоких муках. Мать моя с воплем призывала мщение небес на старую цыганку, напоившую его отравою, как она думала, бросалась к ногам старших, просила отомстить; но они

выслушивали ее холодно и, указывая на труп отца моего, отвечали сухо: «Признаков отравы нет. Мы не можем обвинить без доказательств». Между тем цыганка скрылась. Мать моя предалась жесточайшему отчаянию; мои ласки и слезы не могли смягчить его. Она, казалось, ничего не видела и не слышала. Дни и ночи проводила она лежа на могиле отца моего. Я сидела близи нее и плакала. Голод заставлял меня забегать на минуту в нашу палатку; я брала там какой мне попадется кусок хлеба и бежала опять к матери. Тщетно я кричала с плачем, что я голодна, что не могу укусить того жестокого хлеба, который нашла в палатке. Мать ничего не отвечала, она лежала безмолвно на могиле; глаза ее были дики, и она уже не плакала.

Собака наша сделалась худа как скелет; ее всякий бил и никто не давал ни одной крошки хлеба. Она жалобно выла у палатки и лизала мои руки, когда я прибегала, чтоб поискать какой-нибудь корки для себя. При всем своем голоде, бедное животное не смело вырвать у меня из рук хлеба, который я, по малому росту своему, держала так близко у ее рта. По неопытности я не знала тогда, что она голодна. Но дня через четыре верная собака, совсем обессилев, поползла за мною к могиле отца моего; легла у ног матери, жалобно застонала и растянулась, едва переводя дыхание. Надобно думать, что вид твари, столько верной и так много любимой отцом моим, припомнив все минувшее, сильно потряс душу матери моей: она приподнялась немного с могилы, посмотрела на собаку, выхватила у меня из рук хлеб и отдала ей. Этот поступок я всегда вспоминаю с чувством благодарности; он сохранил жизнь доброму и верному животному. Правда, что я тогда заплакала, когда матушка вырвала у меня хлеб и отдала собаке; но, увидя, с какой жадностью бедная проглотила его, поняла наконец, что она была голодна так же, как и я.

Матушка опять легла на могилу и по-прежнему была глуха к моему плачу, к моим просьбам — воротиться со мною в палатку, к жалобам, что нанятая женщина ушла, что у нас ничего не варят есть, что меня все бьют, как только я подойду к другим детям. Мать ничего не слыхала, и к кон-

цу седьмого дня по смерти отца ее также не стало! Она умерла от горя и голода вместе. Я с воплем прибежала в табор, крича, что матушка стала холодна, не дышит и не шевелится уже».

Мариола горько плакала на груди моей, матушка вздыхала и старалась удержать свои слезы; я прижимал к сердцу мою бедную опечаленную. Наконец горесть ее, пробужденная воспоминаниями, утихла. Она продолжала.

«Со дня, в который мать мою положили в могилу к отцу моему и засыпали землею, начались все угнетения, какие только можно было делать семилетнему ребенку. С меня тотчас сняли мое хорошее платье и одели в лохмотья; все заставляли меня работать; для всякого шатра я была служанкою: пища моя состояла всегда из одного хлеба; все, что принадлежало моим родителям, старшие взяли себе, выделя часть табору. Все очень охотно разобрали по рукам палатку, повозку, лошадей и отцовского верхового коня; одну только собаку никто не хотел взять, потому что она постоянно была близ меня. И как она, несмотря ни на какие побои, не отставала от табора, то некоторые жестокосердные предлагали убить ее. Но, к счастью, старшие сказали, что без этого можно обойтись, что она никому не мешает. «Пусть ее ходит табором до случая, — сказал один из них, — ведь она из дорогих собак, ее можно выгодно продать или кстати подарить». Предложение это примирило цыган с моим бедным Марло и доставило ему счастливую жизнь; в надежде получить барыш, его уже не били, не гоняли прочь, хорошо кормили и не запрещали быть неотлучно при мне, участь Марло переменялась: он вдруг сделался любимую собакою всего табора, потому что всякий видел в нем свою долю барыша, но не так было со мною: я была дитя, не могла приносить никакой прибыли; меня нельзя было продать дорого, в подарок никто бы не взял, а между тем надобно кормить даром: — жизнь моя была самая горькая.

Спустя год у нас опять появилась та старуха, которая потчивала отца моего холодным пивом. Узнав о смерти моих родителей и о том, что я ненавидима всеми и всеми

бита с утра до вечера, она как будто по чувству сожаления или угрызения совести предложила старшинам отдать меня ей. Они в ту ж минуту согласились. Хотя вид старой цыганки наводил мне страх, но я все-таки была рада избавиться от обид всякого рода и от детей, и от больших. Одного только Марло было мне жаль, когда старуха сказала, чтоб я шла за нею, то я обняла шею отцовской собаки, целовала ее и плакала, говоря: «Прости! Прости, мой миленький Марлочик!» — так я звала его, когда игрывала с ним еще при жизни моих родителей. Цыганка рванула меня за руку и сказала: «Полно дурачиться, глупая!» Марло, зарывчав, хотел кинуться на нее, но несколько наших цыган бросились, оттащили собаку, и старуха увела меня.

Мы шли долго через лес. Я очень устала и, не смея сказать этого, начала плакать. «Что ты?» — спросила цыганка отрывисто и не глядя на меня. «Ноги болят; я не могу идти». — «А, какая нежная! Погоди, вот будешь в таком месте, где насидишься вволю; а теперь иди, я не понесу тебя на руках». Я шла и плакала; цыганка не обращала на то внимания. Наконец ноги мои отказались служить мне и, сверх того, были избиты и исцарапаны в кровь, потому что я была босиком. Горько плача упала я на траву и ожидала уже, что цыганка прибьет меня до смерти; но, к радости моей, она даже не оглянулась и так покойно оставила меня в лесу, как будто я никогда не была с нею. Я перестала плакать и наконец заснула; надобно думать, что я очень изнурена была, или сон мой продолжили какими-нибудь средствами, но только я проснулась в известной черной пещере.

Не буду описывать вам ни детского испуга моего, ни горького плача при виде столь ужасного места и еще более ужасных двенадцати старых чудовищ, занимавшихся разбиранием кореньев, перемывкою, отделением по сортам и разными другими приготовлениями, о которых я и теперь не имею никакого понятия. Я не смела ни встать, ни смотреть вокруг себя, ни даже пошевелиться и сидела неподвижно в углу, где мне брошено было несколько моху для постели. Старухи не обращали на меня никакого внимания; но в час обеда дали и мне порцию кушанья, чрезвычайно

вкусного, даже гораздо более вкусного, нежели было то, которое давалось мне у родителей.

В продолжение нескольких дней я была безмолвна, а по ночам горько плакала о том, что не вижу солнца, зелени, цветов, полей, кустарников, одним словом о том, что меня держат взаперти в темной пещере. Всякую ночь старухи уходили, исключая одной, которая оставалась смотреть за огнем; я должна была помогать ей, принося хворост из разных мест пещеры, где он был сложен грузами, и подкладывая понемногу в огонь, который, как после я узнала, должно было от одного полнолуния до другого поддерживать все в одной степени жара, чтоб составы их и мази кипели, — не выкипая.

По мере, как я вырастала, меня учили разбирать кореня: отделять одни от других, рассматривать малейшие их отличия, чтоб не ошибиться и не принять одно за другое. Учили также сохранять и поддерживать огонь, как было должно. Приучали засыпать и просыпаться в известное время. За этим последним так строго и постоянно наблюдали, что, наконец, я никогда и минуты не спала долее того времени, в которое должно было проснуться. Мало-помалу я привыкла к своей грустной жизни, так же как и к виду старых цыганок, их безобразию, сатанинским обрядам; — к их страшным когтям, завыванию; к черным стенам пещеры... ко всему привыкла я!.. Но об одном только обстоятельстве тайно грустила, а другого смертельно боялась. Первое было свет солнца и вид цветущих полей... день и ночь думала я о них; день и ночь представлялись они моему воображению. А последнее — цыган Замет, который мне, как ребенку, казался чудовищного роста и был страшен, как людоед. Я всякий раз тряслась от ужаса, когда он приходил, и пряталась под мох, на котором спала. Впрочем, я была неправа против него: он один только оказывал мне ласку и внимание. Казалось, что он любил меня, потому что всякий раз, когда приходил, спрашивал: «А где ж наша Мариолочка?» И с этим словом клал на постель мою, под которою я уже лежала, притаив дыхание, — яблоко, грушу, горсть вишен, золоченый пряник или какое-нибудь другое подоб-

ное лакомство, до которого однако ж я не дотрагивалась, пока он не уходил. Ему же обязана я была и тем, что мне позволили выходить из пещеры и часа два в день играть на площадке пред входом. Замечая всегдашнюю унылость мою, он отгадал причину и, не говоря о ней ничего цыганкам, сказал только, что я могу занемочь заразительною болезнию от недостатка свежего воздуха и телодвижения, что необходимо, надобно для отвращения подобного несчастья позволить мне выходить на площадку и часа два или три играть на ней, и что я уже не так мала, чтоб не иметь осторожности и, верно, не буду подходить близко к пропасти. Надобно думать, слово «заразительная болезнь» испугало цыганок, потому что они в ту ж минуту согласились на предложение Замета, прибавя только, что небольшая беда будет, если последнее и случится со мною, — с должным последствием.

Мне минуло тринадцать лет с половиною, когда в один день старуха, учившая меня распознавать и отделять сорта кореньев, сказала, что теперь настало для меня время оказать моим покровительницам услуги более важные, нежели те, чтоб разбирать коренья и подкладывать хворост. «Одна из нашего заветного числа двенадцати, — говорила старая цыганка, тряся своею седою головою, — вчера умерла, а сегодня полнолуние; тебе надобно заменить ее, — я не в силах, больна и тем безнадежнее, что мне девяносто восемь лет; в этом возрасте и при совершенном здоровье нет силы против пятилетнего ребенка. Итак, готовься в эту ночь идти с твоими повелительницами на место их сборища, а я займу твое место у огня; да тебе еще надобно будет одеться, как одеваются они. Там нельзя быть иначе одетою». Проговоря это, цыганка покойно занялась подкладыванием хвороста, нисколько не заботясь, каким покажется мне ее предложение; и она была права: что могла я сказать против этого? Могла ли я, смела ли иметь свою волю? Моя участь была — повиноваться всему, что мне прикажут.

За час до полуночи пришел Замет; старуха в ту ж минуту повела меня к углу, к которому до сего времени я боялась подходить; она подняла занавес, его закрывавший,



вошла туда со мною и, приказав мне снять платье до пояса, надела мне на руки известные тебе, мой милый Готфрид, когти, натянула эти страшные перчатки очень гладко и застегнула пряжкой; после этого обтянула весь корпус какою-то тягучею черною тканью, опоясала широким ремнем, от которого посредине спускался другой и тащился по земле; на конце у него было несколько крючков в виде грабель. Наконец она окончила уборку мою, надев мне на ноги обувь, имеющую вид огромных копыт с крючком посредине. Трепеща как лист от ужаса, я не смела однако ж сделать ни малейшего сопротивления и позволила надеть на себя наряд, которого вид леденил душу мою чувством невыразимого страха. Старуха вывела меня к Замету. «Ну вот, на место умершей! Она неопытна еще, но все по крайней мере хоть число будет полное». Замет, не говоря ни слова, взял меня и вывел из пещеры. Мы взлезли на уступ и пошли через лес, прямо к долине. Старые цыганки дожидались меня у опушки, которою лес оканчивался. Не доходя несколько до них, Замет сказал мне вполголоса: «Будь рассудительна, Мариола, покорись своей участи, ее ничем переменить нельзя; да ты уже ведь и не ребенок, — понимаешь, что, одевшись чертовкою, ты не сделалась в самом деле ею, но осталась все тою же Мариолою, как и была. Ободришь же и перестань трепетать».

Я скоро привыкла и к чертовскому наряду; наконец стала находить удовольствие в этих полночных сборищах: мне весело было карабкаться, как белке, на уступ, идти лесом, петь известную песню, призывая то месяц, то тучи, то волков, то лешаго. Я очень охотно бегала и прыгала в кругу, ревностно царапала землю своими железными когтями, выдирая ими коренья, и от души хохотала, потихоньку однако ж, смотря на шмыганье дряхлых бабушек, на их странные кривлянья, неловкие и вялые прыжки, — все это очень занимало меня, пока имело вид смешного фиглярства; но когда по прошествии шести полнолуний по уставу нашего проклятого общества заставили меня проговорить пред кипящими составами клятву и объяснили закон, по которому всякое покушение уйти из пещеры и присоединиться к

людям наказывалось лишением на всю жизнь разума; а открытие места, торго и способов, какими это делается, наказывалось смертию, но не мгновенною, а причиняемою муками столь лютыми, столь ужасными и столь продолжительными, — то я, выслушав все это, упала без памяти.

Я была долго в бесчувствии или, лучше сказать, в горячке; и когда наконец пришла в состояние узнавать предметы и понимать, что говорят, то услышала спор цыганок с Заметом: они утверждали, что приговор всего их женского сонмища был справедлив; что меня надобно было бросить в пропасть; что обморок мой произошел от внутреннего сознания в готовности к бегству и предательству; что я наделаю бед им, и что Замет, не дозволяя умертвить меня, будет причиною гибели целого общества и открытия драгоценнейшего таинства их, доставляющего им столь обширную власть, уважение и выгоды. «Все погибнет от того, что ты, безрассудный Замет, неприлично ремеслу твоему сострадателен! Что значило бросить больную девчонку в пропасть? Смерть ее была бы мгновенная, и все бы давно кончилось и забылось! А теперь вот, опасайся ее, смотри за нею, берегись как шпиона!» На все это ворчанье Замет отвечал только, чтоб они не делали из мухи слона; что пока я молода, не буду иметь ни смелости, ни способов уйти или изменить, а когда состарюсь, то буду также охотно и тщательно заниматься всем тем, чем занимаются теперь они, и также как они, мало буду заботиться о строгости нашего закона.

Через две недели я выздоровела совсем и опять пустилась скакать и прыгать по очарованному кругу, в полнолунные ночи. Возраст мой не позволял мне долго помнить ни страшной клятвы, ни ужасного закона. Я забыла об них и всегда с нетерпением ожидала полнолуния, потому что только тогда могла я свободно бегать по долине, смотреть на месяц, на звезды, рвать цветы, связывать их в кучки, вить венки, гирлянды и уносить к себе в пещеру. Старухи не бранились и не запрещали мне этих удовольствий; но во все остальное время неусыпно стерегли, чтоб я не выходила из пещеры, и Замет всякий раз запирали дверь снаружи, когда цыганки уходили.

Так прошел год. Мне было четырнадцать лет с половиною, когда настало наконец время новой жизни для меня; в ту ночь, мой Готфрид, когда я увидела тебя, состояние мое показалось мне столь горьким, столь ужасным, что возвратясь с нашей бесовской работы, я хотела добровольно броситься в бездну, окружающую нашу пещеру! Почувствовав смертельное отвращение к ремеслу и одеянию сатаны, которое до сих пор казалось мне так забавным, я думаю, что скорее бы согласилась умереть, нежели надеть еще хоть раз то, что надевала прежде так охотно. Новое чувство души моей дало мне какую-то необычайную смелость; без всяких предлогов я сказала старухам прямо, что не хочу ходить на луг, не хочу надевать чертовского наряда, что они могут убить меня, если хотят, но что я не пойду с ними никогда и никогда более не надену проклятого платья; что я боюсь когтей, боюсь превратиться в то, во что переодеваюсь. Наговорив им всего этого, я принялась неутешно плакать. Не знаю, что было бы со мною, если б Замет и в этот раз не защитил меня. Пока я рыдала и обливала слезами мох своей постели, на которую бросилась, старухи очень равнодушно достали свои когти, чтоб ими изодрать меня, как то предписывалось в подобных случаях одною из статей их адского закона; одно только отсутствие Замета остановило их в этом действии. Без него они не могли ничего начинать, а особенно казнь всякая требовала и непременно его присутствия и положительного согласия. Цыганки дождались его прихода, сказали в чем дело и в ту ж минуту приступили ко мне; но Замет, как буря, вырвал меня из их рук. «Из ума выжили вы, что ли? Безумные! С чего взяли вы уродовать смысл наших постановлений? Там сказано: «Изодрать когтями за покушение к побегу», а вы хотите сделать это же самое за то только, что молоденькой девочке наскучило наряжаться чертовкою и бегать с вами по лесу!» Говоря это, Замет держал меня у груди своей, схватя обеими руками. Цыганки теснились к нему. «Но закон наш требует, — кричала одна из них, малорослая и самая старая, со злобою наступая на Замета, — закон наш требует смерти того, кто без причины откажется от служений общему делу, от испол-

нения своих обязанностей!.. Разве не знаешь, что только единодушным усердием и строгим соблюдением наших уставов держится и хранится в тайне столь многие годы это место, его сокровища и наше существование? А ты хочешь все разрушить, все открыть своим виновным послаблением!.. Не ты ли уже изменник?.. Отдай! Сию минуту отдай нам эту змею!» — старуха нанесла на меня свои когти. Замет очень покойно отвел рукою в сторону наступавшую на него цыганку и сказал одно только слово на неизвестном мне языке; но слово это имело чудесную силу: злая старуха отошла со стыдом и замешательством, а прочие, которые не так ревностно стремились погубить меня, смотрели на нее усмехаясь и говорили ей вполголоса: «Вот видишь! Ведь мы предупреждали тебя! Ты сама не права!» Я в продолжение всего этого явления жалась, трепеща от страха, к груди Замета и горько плакала. Но когда сказанное им слово утомило порыв злобы старой цыганки, тогда она, оправясь несколько от своего замешательства, сказала мне, чтоб я перестала плакать; что они не будут более брать меня в долину, но как надобно, чтоб я что-нибудь делала для общей пользы, то с этого дня поручается мне смотрение за огнем; что нерадение в этом случае наказывается наравне с злым умыслом, потому что последствия дурного смотрения таковы же, как и от умышленной порчи.

Целый месяц старая цыганка показывала мне, как что делать около огня, и после этого я была уже одна распорядительницею и полною властительницею этого очага с его железными сосудами, в которых день и ночь варились составы. До того часа, милый Готфрид, в который увидела тебя, я нисколько не заботилась узнать, что такое именно варится на этом очаге, за которым я иногда надсматривала; но когда вид твой пробудил в душе моей какое-то чувство, мне непонятное, приятное и мучительное вместе, от которого я то плакала горько, то радовалась без памяти, то бросалась с отчаянием на постель и призывала смерть, то прыгала от восторга по всей пещере! Когда это чувство поселилось в сердце моем, распространилось, овладело, начало жить в нем, — тогда, сама не зная для чего, стала я

употреблять все способности моего разума на то, чтоб узнать свойства составов, кипящих целые дни перед моими глазами; но думаю, что никогда бы не успела в этом, если бы в один день Замет, в жару рассказа, не забыл о моем присутствии, а может быть, и о самом существовании. «Странно, — говорил он, — как велика степень злобы сердца человеческого! Кажется, что могло б быть дороже для женщины, утратившей красоту и молодость, как возможность возвратить и то и другое? Ну, так представь же себе, Хайда (он говорил той цыганке, которая хотела убить меня), — представь, что старая графиня Мар\*\*\*\* возвратила мне золотник вот этого состава (он указал на самый маленький из сосудов), один только золотник, который мы могли достать этого лета, и за который она заплатила такую необъятную сумму, — возвратила, не взяла обратно заплаченных за него денег и придала еще почти столько же за ползолотника вот этого состава!.. (он указал на другой сосуд, немного поболее первого). Это непостижимо! Как я ни привык разносить повсюду зло и добро, смерть и жизнь, радость и отчаяние, однако ж иногда невольно ужасаюсь той скрытной и недостижимой глубины злодеяния, в которую разум мой проникает во время сбыта моих товаров!.. Только этого адского состава и ищут; только его и спрашивают; за него платят не только что не торгуясь, но еще с наддачею сверх запрошенной цены, только чтоб отдал непременно им, а не другим кому-нибудь... а сколько тонкости, хитрости, предосторожностей!.. Если меня этого года нельзя им признать за того же самого, который был у них в прошлом году, то тех, кто покупает у меня этот состав, если б даже снять с них все платья, вымыть им лицо, голову и руки теплым уксусом, то и тогда не открылось бы ни одной черты, ни одной приметы, по которым можно было бы иметь хоть тень подозрения, что это те же самые, однако ж тем не менее это точно они!.. Да, злоба, ненависть сильнее всякого другого чувства движут сердца людей и управляют их действиями!» — «Итак, ты отдал графине последний полузолотник тонкого яда?» — «Отдал; самой в руки отдал. И в какой восторг пришла она, когда я рассказал ей, как он дейст-

вует! Радость ее привела меня в ужас! Я поспешил удалиться от подобного чудовища».

Разговор цыганок и Замета продолжался до полночи, и я узнала из него, что состав в маленьком горшочке дает даже цвет и блеск юности, укрепляет тело, ослабевшее от лет или болезни и тем возвращает чертам их прежнюю форму, а следовательно, и молодость; переменяет природную смуглость в блестящую белизну; сверх того, возвращает утраченные силы, восстанавливает здоровье, продолжает жизнь; расширяет границы ума, дает огонь и силу воображению, возрождает спокойствие духа, твердость воли — одним словом, благотворные действия его на тело и душу неисчислимы и непостижимы, но что всего драгоценнее в нем, так это свойство его уничтожать действие ядов и преимущественно того, которым иссушается мозг и, следовательно, отнимается разум.

Во все продолжение этих рассказов и суждений я притворялась спящею, а наконец и в самом деле заснула. На другой день, приводя себе на память все слышанное, я по какому-то неясному предчувствию занялась прилежно изучением, какие именно корни дают мазь, имеющую столь драгоценные свойства. Я дождалась полнолуния, и когда старухи унесли свои сосуды, чтоб слить куда-то готовые уже составы, я рассмотрела корни, которые они приготовили, чтоб в эту ночь налить их водою и поставить на огонь. Они были уже разложены на двенадцать небольших кучек, из которых одна была гораздо меньше других и состояла из корней розового цвета, тонких как волос и столь приятного запаха, что никакие цветы не могли поравняться с ним; я вспомнила тогда, что точно такое благовоение было от того состава, что варился в самом меньшем горшочке.

С того дня я постоянно отбирала из заготовленных корней те, которые были мне надобны. Я однако ж не смела брать более пяти или шести корешков в каждое полнолуние, потому что они были очень редки, добывались в небольшом количестве и с великим трудом: по странному капризу природы, лучшее растение пряталось так глубоко в земле, что надобно было рыть более полуаршина, чтоб

достать двадцать или тридцать корешков, которых запас целого лета не давал более двух или трех золотников густой мази. В три года я собрала ее столько, что могла иметь из нее порядочной величины шарик, почти с небольшой лесной орех. За месяц до случая, приведшего тебя в нашу пещеру, я отыскала обломок какого-то старого, железного сосуда и, когда не было старух, варила в нем свои корни. К концу месяца мазь была готова; я простудила ее и выложила на камень; после этого долго рылась между пуками заготовленных трав, отыскала в них самый широкий листок и завернула в него свое столь продолжительными трудами приобретенное сокровище. Через два дня оно вознаградило меня с лихвою, сохраняя разум твой от губельного действия проклятого состава старых цыганок.

Непонятное усыпление твое, мой Готфрид, длилось целый месяц; цыганки и Замет очень удивлялись этому, но, полагая, что какая-нибудь болезнь, присоединясь к действию их состава, получила от него свойство держать чувства твои в столь продолжительном оцепенении, — оставили тебя лежать в пещере до полнолуния, а тогда хотели отнести в рощу, примыкающую к твоему замку. Одна я только не обманывалась в причине твоего необычайного сна: хотя целебный состав, которым я натерла тебе голову, и уничтожил действие другого состава на твой мозг, но не мог однако ж ослабить до того вредную силу его, чтоб она не действовала на тебя хоть так, как действует опиум.

В ночь полнолуния Замет, проводя цыганок, воротился и нашел, что я с головнею в руках сижу над тобою, рассматриваю тебя и плачу... Он посмотрел на меня сурово, сказав, что в этой пещере не должно ни плакать, ни сожалеть о ком бы то ни было. После этого увещания он подошел к тебе и, посмотрев пристально в лицо, сказал, что усыпление скоро пройдет. До самого рассвета он сидел близ тебя, и я была ни жива ни мертва, ожидая каждую минуту, что ты откроешь глаза и первое, что увидит в них Замет, будет, вместо безумия, полное присутствие твоего разума! Гибель твоя и моя была тогда неизбежна! К счастью, ты погрузился в глубочайший сон, предшествовавший, надобно ду-

мать, совершенному восстановлению сил. При первых лучах солнца Замет поднял тебя на руки так легко, как маленького ребенка и, положив на плечо, взобрался с тобою без всякого затруднения на уступ и пошел в глубь леса.

Хотя я была уверена, что он понес тебя в рощу замка, но тем не менее трепетала от страха и проливала горькие слезы!.. Видеть тебя в руках страшного Замета было для меня ужаснее смерти!.. Но что я почувствовала, когда ты воротился в пещеру, за минуту только до его прихода,— этого я рассказать не могу! Для этого нет слов! Один раз в жизни можно испытать подобные чувства, для другого ее не достанет! Не знаю, как и тогда осталась я жива! Думаю, что твоя опасность поддержала мои силы... Я спасла тебя в другой раз; остальное ты знаешь. Месяц твоего отсутствия я провела между жизнью и смертью: то я приходила в отчаяние, что уже никогда более не увижу тебя, и хотела, вытолкнув сложенную тобою стену, броситься в пропасть, то вдруг радость овладевала мною, и я плакала от восхищения, воображая, что в ночь полнолуния взойдет для меня заря счастья и свободы.

Наконец она настала, эта ночь! С каким трепетанием сердца слушала я известную тебе песню цыганок! Как то холодела, то разгоралась грудь моя, когда старухи пошли одна за другою, выбрались из пещеры и Замет, вышед за ними последний, задвинул засовы нашей двери. Едва держась на ногах от сильного трепетания сердца, подошла я к стене, влезла к отверстию с величайшим трудом, потому что страх, радость, ожидание каких-то неведомых происшествий чуть было не лишили меня рассудка и сил! Однако ж вот я у стены, толкаю тем же железным шестом, которым ты так богатырски выдвинул почти целый утес. Мелкие камни тотчас уступили, рассыпались, слетели в бездну, и я увидела открытое небо, звезды, полный месяц! Радость вытеснила страх! Я проворно спрыгнула на землю, смело пробежала по узкой тропинке около скалы, прибежала на площадку пред входом, ухватилась за ветви, как белка поднялась по ним на эту природную кровлю и спряталась под самые корни кустов.



Я видела, как спрыгнул на площадку Замет и в ту ж секунду был схвачен солдатами; вопль ужаса и сожаления замер в груди моей, когда я увидела, что и ты тут же. Ты слетел к ним как ангел-истребитель, в один миг одолел Замета, поверг на землю! Его связали! Я видела, как он старался прикатиться к краю пропасти... Прикатился! О Готфрид! Он был покровитель юности моей! Он защитил жизнь мою! Он один любил меня и заменял мне отца в моем страшном жилище!» — Мариола кончила рассказ свой, горько плача на груди моей.

Заря занималась уже, когда мы разошлись по своим комнатам. Я однако же не мог спать; мне хотелось как можно скорее кончить начатое. Призвав управителя и объясня ему все происшествие, бывшее причиною страшных слухов о долине и разных несчастных случаев, я приказал ему, не дожидаясь моего возвращения из Праги, собрать всех моих крестьян, нанять еще посторонних, если своих покажется недостаточно, и, вырыв с корнем все кусты, окружавшие место, где росли ароматические травы, выпахать это последнее плугом, и вырванные этим способом растения сложить в стог и сжечь; с кустами сделать то же; круг, где росли травы, назначить под постройку нового замка и для этого вырыть все это пространство в два аршина глубиною и заложить фундамент. Я хотел, чтоб и самонаименьшего корешка столь опасных и вместе искусовых растений не зашло в земле. Отдав все эти приказания и объяснив подробно, что, когда и как надобно делать, я спросил о своих одиннадцати пленниках. Управитель отвечал, что проклятые ведьмы мрачны как ночь октябрьская, не говорят ни слова между собою и не отвечают никому ни на какие вопросы. Одна только малорослая цыганка, седая как лунь и, по-видимому, старее их всех, насмешливо спросила своих подруг: «Не хотите ли теперь посмеяться надо мною? Тогда было слишком рано». Бог знает, что она хотела этим намекнуть или напомнить им, на все наши вопросы она была нема как рыба! Я прекратил рассказы словоохотливого управителя моего, приказав ему позаботиться об отправлении в Прагу старых цыганок под стражею того ж самого

отряда, который дан был для их поимки.

Через две недели по приезде моем в столицу я сделался счастливейшим из людей, соединясь неразрывными узами с моим неоцененным сокровищем, моею милою, несравненною Мариолою. Супружество это разлучило меня с обществом, но я не думал сожалеть об нем; дни мои проходили светлы и радостны!.. Я то погружался в море восторгов и блаженства, прижимая к груди своей юную баронессу мою и целуя ее прелестные, огненные черные глаза, то плакал от умиления, обнимая колена доброй матери моей!.. Нет, Эдуард! Счастье мое было невыразимо, таким осталось и таким будет до гроба!..

Допросы старым цыганкам продолжались с месяц. Я всякий день был при этом. Отвечала одна только малорослая; лет около ста ей было, как казалось. Прочие сказали один раз только, что не к чему говорить всем; что показания их будут все одинаковы, и что они наперед утверждают все, что скажет или откроет Хайда (имя старой цыганки), но что сами они ни на что уже отвечать не будут. Они сдержали свое слово и в продолжение всех допросов сидели как истуканы, не показывая ни малейшим телодвижением, ни самым легчайшим изменением физиономии, чтоб принимали хоть какое-нибудь участие в ответах своей уполномоченной.

Сначала судьи думали, что им будет много труда доискаться истины в увертливых ответах старой цыганки, но с первых вопросов были очень удивлены, что вместо показаний лживых и запутанных Хайда отвечала справедливо, откровенно, удовлетворительно, ничего не утаивая и не скрывая ни малейшего обстоятельства. Когда один из молодых людей (видно, почитая это очень действительною мерою) сказал ей при начале вопроса, что искреннее признание вины уменьшает наказание, она отвечала: «Не заботьтесь ободрять меня, господин судья! Я за удовольствие почитаю, за верх славы рассказать почтенным членам суда, как велико было наше могущество и как обширен был круг наших действий, хотя мы и не выходили из проклятой долины, как назвали ее глупцы: для нас долина эта

была благословенна! Сокровища лились к нам отовсюду! Сильные земли трепетали скрытного могущества, таившегося в утробе земной! Могущества, нам только известного, нами открытого. Да, травы наши, неоцененные травы наши! Сколько еще великих опытов, важных открытий можно было бы сделать из этого единственного подарка природы! Единственного на всей поверхности земной!..»

Цыганка замолчала и погрузилась в задумчивость, вопросы старшего судьи вывели ее из забывчатости; но она просила отложить продолжение допроса до завтра. «Поверьте, что я буду говорить вам самую истину; но теперь душа моя полна горести... печаль пересилила тщеславие!.. Не могу хвастаться благами, о потере которых не могу утешиться. Дайте мне отдохнуть! Дайте выплакать свое горе!.. Мне минуло сто лет, я на краю гроба... Но и сходя в него, нельзя не сожалеть о столь великом сокровище, которым мы владели, любили его, лелеяли, гордились им, с каждым годом приводили в совершенство! Надеялись, что племя наше будет обладать им из рода в род... а теперь!.. ах! До завтра! До завтра! Сердце мое готово разорваться».

На другой день я опять пошел в суд. Цыганки были уже там. Хайда была гораздо покойнее вчерашнего; вид ее показывал грустную решимость. Седая голова ее тряслась, но глаза все еще метали искры, и голос был тверд и громок. Не дожидаясь вопросов судейских, она рассказала, насколько не путаясь, связно, в совершенном порядке и с видимым соблюдением строгой истины, — все, как что было, от начала до конца.

«Я была еще годовым ребенком, — говорила Хайда, — когда табор наш, переходя, по обыкновению, от города к городу, от одного места к другому, по какой-то странной неосмотрительности или беспечности, потерял дорогу, проходя обширными лесами Богемии, и заплутался именно в том, который впоследствии сделался нашим приютом. Лес этот и тогда был почти непроходим; обстоятельство это, столь благоприятное для нас после, теперь приводило весь табор в затруднительное состояние; разослали всех, кто помоложе, отыскивать дорогу, но все возвратились ни с чем;

один только сказал, что нашел большую долину, на которой растет густая трава и множество цветов; что там удобнее будет расположиться табору в ожидании, пока отыщут дорогу и, сверх того, лошадям вдоволь будет такого корму, какого они никогда еще не едали.

Таково было наше первое вступление в долину, за которую все сокровища в свете недостаточны заплатить; но тогда никто ничего не знал; цыгане дивились только необычайно приятному запаху трав; еще более дивились и не понимали, отчего им всем стало как-то веселее, и что они чувствуют себя как-то здоровее, бодрее; потолковали об этом и, наконец, приписав такую перемену свежести воздуха, прохладе леса, перестали думать об ней; развели огонь, сварили, что было, поужинали, заснули!.. Но — один не спал! Это был дед Замета, тогда еще молодой человек, лет двадцати пяти. В детстве своем жил он в услужении у доктора, великого верователя в чудесные силы трав и великого мастера открывать и разыскивать, к чему именно они полезны; все свои леченья он производил одними травами и всегда очень удачно. У него много было рецептов, как составлять, смешивать соки одни с другими; подробно описанные, любопытные открытия, одни уже испытанные, другие основанные на догадках, соображениях. Молодой Керим был любопытен и переимчив: следя и шпионя день и ночь тайные занятия доктора, он понял столько, чтоб получить неодолимое желание усовершенствовать себя в этом изучении природы. Но как он не хотел делать этого, имея над собою господина, то и довершил услуги свои доктору тем, что, достигнув пятнадцатилетнего возраста, выкрал у него все бумаги, в которых заключались открытия, наставления и описания свойств всякого растения.

С этим приобретением он убежал и прибыл в наш табор.

У нас считают вздором все, что не приносит выгоды скорой и существенной; итак, молодого Керима с его рецептами и травами грозили прогнать из табора, если он не примется за настоящие занятия цыган, и вот наш юноша, покорясь власти старших, плясал и прыгал, крал и конова-

лил; махал саблею вплоть алых щек миловиднейших цыганок наших; подделывал зубы лошадям и двадцатилетних продавал за пятилетних самим даже знатокам — одним словом, был отличнейшим цыганом в продолжение целых десяти лет и сверх того самым бескорыстным: все выработанное или украденное отдавал табору, никогда, ничего не оставляя для себя. Но теперь настало время наградить и десятилетнее повиновение его и пользу, им приносимую: на рассвете он объявил старшим, что нашел здесь сокровища несметные; что они заключаются в травах, растущих только в одном месте на долине; что подобных трав он никогда и нигде еще не находил; что они должны иметь силы дивные; что он решился посвятить, если будет надобно, всю жизнь свою на то, чтоб открыть, какие именно их свойства, и что, наконец, он надеется самого блистательного успеха от своих трудов. «Если вы не хотите помочь мне, — говорил он, — то по крайней мере не мешайте. Отправляйтесь в путь ваш и оставьте меня здесь одного; чрез год наведайтесь и тогда, может быть, дадите мне все те пособия, без которых мне довольно трудно будет обойтись теперь».

Табор и в мыслях не имел дать какую б то ни было помощь Кериму в его глупых затеях, но препятствовать в них никто не имел ни охоты, ни власти, итак, цыгане, отыскав наконец выход из леса, ушли, а молодой испытатель остался один среди дремучих лесов обладателем долины или, правильнее сказать, ее чудных трав. Об нем забыли очень скоро и верно никогда бы не вздумали разыскивать, что с ним сделалось, если б года через три один из наших не встретился с ним на ярмарке, в одном из богатейших пограничных городов. На насмешливый вопрос «Как идут его травяные дела?» Керим отвечал тем, что отдал спросившему цыгану полный кошелек червонцев и хотел было уйти, не говоря ни слова; но тут уже изумленный цыган не мог отстать от него; он пошел к нему на его квартиру, видел там пять или шесть крошечных баночек, за которые при глазах его платили не только все то, что Керим просил за них, но еще наперерыв давали больше, чтоб только отдал. Цыган едва не простерся у ног Керима, убеждая его

ехать с ним в табор и взять из него столько помощников, сколько ему рассудится. «Все мы — все будем исполнять, что ты скажешь. Прости, добрый Керим, что мы не могли понять, уразуметь, какое благополучие ты предлагал нам! Вспомни, что табор наш дал приют тебе, что ты вырос у нас, что мы любили тебя, — вспомни все это и возвратись к нам!»»

С того дня Керим сделался начальником и повелителем нашего табора; свободно рожденные цыгане повиновались ему с подобострастием турецких невольников. Он был основателем всего, что теперь так беспощадно разрушено господином бароном! Керим велел насадить кусты вокруг места, на котором росли целительные травы. Он изобрел порошок, причиняющий животным, а особливо собакам, внутренние судороги, тесноту дыхания и давление на мозг. Порошком этим обсыпал он кусты, и сила его запаха, также и действия были так велики, что ни дождь, ни роса, ни снег, ни морозы, ни даже целые десятки лет времени не могли ослабить ее: она оставалась навсегда одинаковою. Керим открыл пещеру в скале, висящей над бездонной пропастью; убежище это было целые три года его лабораторией. Он предложил нам поселиться и работать в ней, установил порядок и назначил время для добывания кореньев. Число — двенадцать, по какому-то исчислению или соображению Керима, было числом основным всех его учреждений и постановлений. Двенадцать цыганок, не моложе пятидесяти лет, должны были каждое полнолуние, в полночь выкапывать корни, и чтоб это действие имело вид не работы, а страшных чар, изобрел для них одеяние, делающее их похожими на дьяволов. Закон, им учрежденный, состоял из двенадцати пунктов; нарушение каждого из них наказывалось смертью, но только неодинаковою. За некоторые назначалась смерть легкая, мгновенная, за другие мучительная; были и такого свойства истязания, предшествовавшие смерти, что нельзя было вспоминать об них без содрогания. Сверх того двенадцать членов, распоряжавших работами около трав и кореньев, произносили клятву, состоявшую так же, как и закон, из двенадцати отделений.

Клятва эта приводила в ужас самых неустрашимых из них; и как бы ни было твердо сердце и непреклонен дух той, которая давала эту клятву, но голос ее замирал, лицо бледнело, и она вся трепетала невольно, выговаривая слова, не для человеческих уст вымышленные!.. Клятва эта оставляла ужасное впечатление в душе той, которая произносила ее: она отнимала все ее радости, нарушала сладость сна, мрачила свет солнца в глазах ее и заставляла с вечным и неодолимым страхом заниматься неусыпно своим делом: хитрый и дальновидный Керим нашел верное средство, присоединив к зрелому пятидесятилетнему возрасту двенадцати цыганок-работниц (или членов пещерного тайнства, что все равно), — к этому безрадостному возрасту ужас необычайного наказания и тем обеспечил навсегда тайну своего открытия. И в самом деле, что могло б заставить женщину-цыганку, пятидесяти лет, рисковать подвергнуться лютому истязанию и смерти? Для чего изменила б она? Кому открыла б, с какою целью? Любовь давно молчит в сердце ее, свобода не имеет уже для нее той приманчивости, какую для молодых; да и на что б она употребила ее? На веселости? — они ей не под силу; на приобретение богатства? — груды золота лежат у ног ее. На вкусные блюда, дорогие вина? — У вельмож не было того, что мы имели в изобилии на своем столе.

Год от году место, нами обитаемое, становилось диче, глуше, непроходимее; лес зарастал, никакое животное не приближалось даже и к опушке его близ долины, потому что ветром наносило им запах, от которого корчило у них внутренность. Открытия Керимовы тоже с каждым годом более и более усовершенствовались. Так прошло пять лет, в продолжение которых все мы жили вместе, выкопав себе покойные и удобные землянки для зимы. Летом мы разбивали на долине шатры свои, не опасаясь, чтоб по ним узнали о нашем пребывании в долине, потому что всякий, кого случай заводил к нам, возвратясь, не мог уже никогда ничего рассказать путного, — разум его пропадал навсегда. В конце пятого года Керим, отобрав из нашего табора двенадцать помощниц для себя, остальных отправил вести их

прежнюю кочующую жизнь. «Всегда, — говорил он, прощаясь с нами, — всегда имеете вы право всего требовать от меня и предпочтительнее пред всеми другими таборами; ваш участок из получаемых мною сокровищ всегда будет более других; но жить нам всем вместе нельзя!.. Ступайте в свет, живите как жили, делайте так, как делают прочие наши племена, и старайтесь забыть навсегда долину, пещеру и очарованный круг». Он рассказал им средства, какие имеет достать их всюду, где б они ни скрылись, под водою ль то будет, под землею ль, и наказать тою смертию, о которой они знают, в случае, если б им вздумалось изменить ему и открыть пещеру.

Таким образом табор наш расстался навсегда с Керимом; из всех детей я одна только осталась в живых и не только что сохраняла воспоминания о долине, но еще имела непреодолимое желание возвратиться в нее; желание это осталось неперменным при всех изменениях моей участи. Я выросла, вышла замуж, овдовела, состарилась, достигла пятидесяти лет и воротилась в долину, которая слыла уже проклятою, потому что в продолжение этого времени несколько крестьян, в разные месяцы, случайно видели пляску чертей (то есть цыганок) в кругу между кустами, и после того те из них, которые имели мужество идти еще раз подсмотреть, точно ли черти пляшут в долине? — воротились на другой день безумными и такими остались навсегда. В этом убежище я дождалась своей очереди и поступила в комплект двенадцати.

Керим умер в глубокой старости. Юный Замет, внук его, наследовал все наклонности своего деда и несравненно в большем совершенстве его способности. Если б злой рок наш не внушил одной из нас взять к себе девочку Мариолу и не бросил к нам на площадку вас, господин барон, то думаю, что изыскания Замета достигли б высшей степени совершенства; уверена, что он открыл бы то соединение соков травяных, от которого они получили б силу продолжать жизнь человеческую на многие сотни лет, вместе с его молодостью и крепостию сил!.. Да! Уверена, что кончилось бы этим... Но кто может избежать своей судьбы! Она



судила иначе!.. Все вело к этому концу: надобно было Замету избавить Мариолу от заслуженной смерти! Надобно было разделиться голосам, когда я предлагала, без всяких хлопот, бросить барона в пропасть! Мы могли это сделать без дальнего насилия, потому что, кажется, на это была его собственная воля, — он бросился в бездну верно не с тем, чтоб упасть на нашу площадку; большая часть моих сотрудниц нашли предложение мое ужасным и сказали, что устав наш запрещает умерщвлять невинно и вместе бесполезно; что мы должны лишать только разума, но не жизни тех, которых случай или даже умысел заведет к нам и предаст нашей власти. Что мне оставалось делать?.. Я имела предчувствие... хотела действовать по совету предусмотрительности, — мне противопоставили буквальный смысл наших уставов!., я замолчала... уступила!., и вот теперь тайные опасения мои оправдались! Все открылось и все погибло!.. Передо мною отверзта уже дверь в вечность!.. Может быть, завтра, сего дня даже не станет меня; но я не могу не сетовать горько, что столь великое, неоцененное сокровище истреблено, исчезло навсегда с лица земли!.. это был дар неба! А господин барон приказал и самый прах его развеять по воздуху!..» Цыганка перестала говорить, опустила голову на грудь и с минуту оставалась безмолвною; наконец, тяжело вздохнув, начала опять: «Этому так должно было быть!.. Это не могло быть иначе!.. Разве европеец может знать чему цену? Разве грубый ум его способен проникнуть в сокровенные таинства природы?.. А если б и проникнул, имеет ли он силу употребить их именно по тому назначению, для какого они сотворены? Нет! Жалкое существо боится своего открытия! Боится самого себя и истребляет невозвратно драгоценность, дарованную ему милосердием неба!»

После этого приветствия европейцам цыганка рассказала судьям о торге составами из трав; о местах, куда их приводил Замет, о лицах, от которых были присыланы доверенные люди для покупки их. В показаниях ее открывалось столько ужасов, что судьи сочли за лучшее прекратить допрос и, как все сделанное было уже сделано, а по тому самому неисправимо и невозвратно, то и рассудили

предать все это вечному забвению. Цыганок поместили всех в смиренный дом, приказав однако ж, чтоб их не употребляли ни в какую работу, потому что они и не способны уже были ни к какой. Предположение Хайды сбылось на самом деле. Она умерла на другой день после допроса. Мне теперь не оставалось другого дела в столице, как окончить передачу моих прав на имущества баронов Рейнгофов моему двоюродному брату. Она была следствием жениху моей на цыганке; но как у меня оставалось имение матери моей и то, что приобрел отец сам по себе без наследства, то я все еще был очень богат и имел возможность доставлять моей милой баронессе все, что только моя страстная любовь изобретала для нее лучшего и дорогого. Но она сама от всего отказалась. «На что мне все это, мой Готфрид? На что бриллианты, жемчуг, бархаты? На что вся эта пышность?.. Воротимся в места, где наша черная пещера; как ни страшна была она мне прежде, но теперь я не могу не вспоминать об ней; там я выросла! Там боялась за жизнь твою! Там узнала, что ты любишь меня!.. воротимся туда, милый друг мой!»

Желание жены моей сроднилось с моим собственным. Кроме того, что я всею душою пристрастился к месту, где так долго страдал и где наконец нашел мое верховное благо, мне хотелось еще, чтоб при моих глазах сделали все те перемены, какие я назначил; чтоб прорубили большими аллеями и расчистили заглохший лес; чтоб украсили пещеру внутри и сделали удобный сход в нее и, наконец, чтоб при мне же строился замок, заложенный на месте очарованного круга. Мать моя, быв настоятельницаю, не могла оставить обители, ею управляемой; она обещала приехать благословить нас в нашем новоселье, когда оно будет готово.

Целый год прошел в том, любезный Эдуард, что я то хлопотал о постройке и всех возможных украшениях замка, где моя милая баронесса должна была жить, то у ног ее таял неугою, изнемогал от избытка блаженства и с неизъяснимым восторгом смотрел в ее чудные, озаренные дивным блеском очи!.. Да, Эдуард! Год уже, как я женат, и я точно так-

же люблю мою Марию (забыл сказать, что матушка требовала непременно, чтоб жена моя называлась Мариєю, оставляя навсегда имя Мариолы), как любил тогда, когда еще и не подозревал, что она существует в мире. Впрочем, этот год лежит некоторым образом на моей совести: я не вспомнил ни разу об вас, любезный Эдуард, ни о том зле, которое чрез меня приключилось вашему Мограби; вы имеете полное право обвинять меня в эгоизме, когда узнаете, что я с первых дней соединения моего с Мариолою, знал уже, чем можно вылечить Мограби. Меня может только извинить упоение любви, безмерного счастья, которого никогда не надеялся достигнуть; беспрестанное восхищение, от которого я не мог ни на секунду образумиться и, наконец, уверенность, что Мограби ваш не умрет от своей болезни, но только останется навсегда в одинаковом расслаблении, если не дать ему того лекарства, от которого он теперь выздоровел.

В конце года, когда тысячи рук, неослабно работающих, окончили наш замок и из дремучего леса сделали прекрасное обширное гулянье, с рощами, ручьями, перелесками, лугами, сенокосами, — мы перешли в наше новоселье и не прежде, как наравдовавшись, налюбовавшись вволю, набегавшись по рощам и лугам до усталости, уместились мы наконец покойно в своем приюте; и тогда-то, в один день, рассказывая моей Марии о знакомстве с вами, о вашем Мограби и страшной привилегии, данной ему природою, я рассказал и о встрече с вами на проклятой долине; наконец, и об испытании посредством вашей собаки, на которое вы по великодушию и неустрашимости вашей согласились и за которое так дорого заплатили: крестьяне говорили, что вы были почти в отчаянии от болезни вашего Мограби и страшились за жизнь его. Выслушав все это, Мария сказала, что давно надобно было бы послать вам лекарства, — тот самый состав, которым она сохранила целость мозга моего. Я было хотел тотчас же исполнить по ее совету, но узнав, что этого состава только и будет на один раз, решился отвезть его сам. Надеюсь, любезный Эдуард, что этим я по квитался с вами и теперь, когда собака ваша

здорова, вы простите мне и страх, и печаль вашу об ней?» Эдуард безмолвно обнял барона; Мограби, как будто чувствуя, что без него не бегать бы ему так бодро и не делать скачков как прежде, лизал руки Рейнгофа и клал свою огромную голову на грудь к нему. «Это еще не все, — продолжал барон, глядя по голове разнежившегося Мограби, — услуга моя прочнее, нежели вы думаете, любезный Эдуард: мало того, что ваша прекрасная собака совершенно стала здорова; но она еще будет и жить годами семью долее срока, назначенного ей природою. Таково свойство этого дивного состава, которою последний остаток я употребил для вашего Мограби. Правду говорила старая Хайда, что мы боимся вникать в тайны природы; боимся узнать их; боимся действовать ими, а всего более боимся самих себя; — боимся, чтоб, управляя столь страшными силами, не сделать зла более, нежели б мы хотели или, лучше сказать, страшимся навлечь на себя беду, которой не будем знать как помочь, подобно тому ученику волшебника, который, выуча одно сильное заклинание, призвал духа и не знал, куда от него скрыться!.. Точно так поступил я, узнав о непостижимых свойствах трав и корней, открытых Керимом, — я спешил все сжечь, все истребить! Теперь искренно сожалею об этой неуместной торопливости; как бесценны были эти розовые корни! Почему бы, по крайней мере, не выбрать их из того запаса, который заготовили цыганки? Почему б не поискать и более в земле? И тогда б еще не ушло обратить все остальное в пепел; но эти корни принесли б такую необъятную пользу всему живущему!.. Так нет, все в тот же день сожжено, истреблено без возврата; и как говорила старая Хайда, даже самый пепел развеян по воздуху! Теперь осталось от всего одно только воспоминание и позднее сожаление!»

Солнце начало уже всходить, когда барон Рейнгоф окончил свое повествование. Он и молодые люди, полюбовавшись красотою и веселием восходящего светила и тою радостью, с которою приветствовало его все живущее, растущее и цветущее в природе, отправились домой. Барон, не желая ехать один в коляске, пошел с ними пешком.

Мограби стрелою летал по полям и молниєю мелькал через кусты; Эдуард радостно следил его глазами и с благодарностию жал руку Рейнгофа.

Когда вся суматоха этой ночи и утра утихла наконец, когда все пришло в должный порядок, и Эдуард с Рейнгофом после роскошного обеда сидели покойно на диване, куря табак и имея перед собою каждый чашку кофе, — тогда молодой хозяин спросил своего гостя, довершит ли он свое ни с чем несравненное одолжение тем, чтоб погостить у него несколько дней?

— Это, конечно, будет такое пожертвование, которого мне не должно бы просить от вас, любезный барон! Но право, я не могу так скоро расстаться с вами; вы меня истинно опечалите, если откажетесь пожить у меня, по крайней мере, хоть недели две; вы не поверите, как батюшка полюбил вас! Обо мне уже нечего и говорить: для меня нет ничего дороже вашего товарищества!.. Согласитесь же, милый барон, подарить нас двумя неделями вашего присутствия.

— Охотно, Эдуард! Мне тоже очень приятно быть с вами и очень лестно внимание вашего батюшки, а сверх того я нахожу очаровательною вашу прекрасную сторону. Что ж касается до пожертвования, о котором вы упомянули, так неужели вы подумали, что я мог разлучиться с моею Мариєю? К этому может принудить меня одна только смерть. Мария здесь, со мною.

— Возможно ли, барон! — воскликнул Эдуард с восторгом, которого главною причиною было величайшее любопытство, в одну секунду овладевшее молодым человеком при имени баронессы-цыганки, — возможно ли? Супруга ваша здесь! О, вы ничего не скажете! Где ж она? Позвольте ль вы мне иметь счастье... — Эдуард не знал, как кончить фразу, так пышно начатую; мысль, что баронесса Рейнгоф ничто иное как простая необразованная цыганка, очень некстати поразила его воображение в самой середине приветливого вопроса. Рейнгоф сделал вид, что ничего не заметил, и отвечал просто, что жена его будет очень рада познакомиться с приятелем своего мужа. — Я оставил мою Марию на мызе С\*\*\* в прекрасном и покойном помеще-

нии; состояние ее требует, чтоб она жила не в душном городе, а среди свежих лесов и цветущих долин; там все это есть. Прости, любезный Эдуард! Завтра ожидаю тебя в двенадцатом часу и на весь день. Да возьми с собою Мограби. Марии очень хочется его видеть и приласкать.

Эдуард не мог заснуть всю ночь; воображению его беспрестанно представлялась смуглая баронесса, прелестная и страшная вместе. «Что должны быть за глаза такие, у которых белки синие!.. Неужели они могут быть хороши?.. Рейнгоф однако ж не может говорить об них без того, чтоб его собственные не загорелись тем огнем, которым, как видно, полно его сердце!.. Ну, пусть так, глаза; может быть, синие белки в самом деле придают им какую-нибудь особенную прелесть; но кажется, что темно-красные уста не предвещают никакой нежности тени в лице!.. При всем том, барон без ума от нее! Он говорит, что она прекрасна! — Прекрасна как сатана в первую секунду греха! Это его собственные слова. Ах, сколько ужаса должно быть в подобной красоте!»

В десять часов Эдуард приказал оседлать себе лошадь и поехал. Но как селение, или мыза, где остановился Рейнгоф, была не далее, как в восьми верстах от города, то чтоб не приехать слишком рано, молодой человек, несмотря на свое нетерпение, ехал шагом. Такой аллюр был очень неприятен Мограби; возобновившиеся силы делали его очень неутомленным: он беспрестанно забегал вперед лошади и делал скачки выше головы ее; то с визгом лаял на нее, то пускался во весь дух по дороге; опять возвращался и, ухватя зубами стремя, старался обратить на себя внимание своего господина. Наконец со всеми проделками Мограби и важною поступью коня все-таки Эдуард в половине двенадцатого был у цели своих желаний, — на мызе, занимаемой Мариею! В ее зале! Перед затворенною дверью гостиной!.. Мограби бегал по всем углам, с беспокойством везде обнюхивал и, наконец подбежав к затворенной двери, толкнул в нее мордою: дверь растворилась настежь, Мограби с жалобным воем пополз к ногам своего господина. Эдуард затрепетал; он ожидал уже, что видит самого сатану с образе

баронессы, но не увидел никого; комната была пуста; на столе лежало письмо, надписанное: «Другу моему, Эдуарду». Близ письма лежал довольно большой четырехугольный пакет, в котором было что-то твердое; Эдуард сел в кресла, погладил Мограби, который протягивал морду к письму и издали обнюхивал его, распечатал и стал читать:

«Извини, милый Эдуард! Я невольно обманул тебя; но будь сам судьей, скажи, что мне оставалось делать? Моя Мария сказала мне, что живет только для меня и чувствует, что хороша только для моих глаз; что не имеет ни малейшей охоты показываться кому б то ни было из посторонних; что, посвящая мне жизнь свою, требует за это одного угождения от меня, и именно того, чтоб из всех мужчин, населяющих шар земной, она видела одного только меня. Кто б не уступил тут? Кто б не покорился ее желанию? Мы уезжаем в полночь; но я оставляю тебе портрет моей Марии — с ее согласия. Она просит меня сказать тебе, что какое б ни было первое впечатление, которое сделают на тебя черты ее, она желает, чтоб некогда и ты нашел себе Мариолу и был бы для нее Рейнгофом; что тогда ты достигнешь такого счастья, которое здесь на земле даст нам понятие о том, какое готовится нам выше. Это собственные ее слова, передаю их верно, хотя я, правду сказать, ничего в них не понимаю; но моя милая баронесса мыслит и выражается немного фантастически, — отчего я еще более люблю ее. Прости, любезный Эдуард! Прими искреннее уверение, что я и моя Мариола будем помнить и любить тебя как родного. Приласкай за нас обоих своего Мограби — первоначальную причину нашего знакомства с тобою и моего счастья; без него я не бросился бы в пропасть — и следовательно, не нашел бы моей Марии. Прости, Эдуард.

На всю жизнь твой,  
Рейнгоф».

— Ну! На, на! Что ты хочешь с ним делать? — так говорил Эдуард, отдавая письмо Мограби, который не переста-

вал протягивать к нему свою морду и хватать его зубами. Не обращая более внимания на собаку, Эдуард с непонятною для него грустию разрывал пакет, заключающий в себе подарок Марии или лучше — Мариолы, портрет ее.

Солнце склонилось уже к закату, когда Эдуард перестал, наконец, рассматривать портрет молодой цыганки. Он положил его к сердцу, тяжело вздохнул и хотел было взять письмо, которое полагал упавшим на пол; но письма не было.

— Мограби! Где письмо? — В ответ Мограби облизнулся. — Как, дурак! Неужели ты съел его? — Мограби опять облизнулся. Эдуард пожал плечами и оставил мызу. Теперь он тоже ехал шагом, но уже не для того, чтоб не приехать рано. Ему не хотелось скорою ездою дать другое направление своим мыслям! Весь он погрузился в мечтания о баронессе Рейнгоф. «Бесполезны твои обеты для меня, несравненная Мариола! Не исполнятся они! Не достигнуть мне счастья, подобного счастью твоего Готфрида! Небо сотворило одну только Мариолу, другой не может быть!.. О как неизобразима красота твоя!» — восклицал Эдуард, останавливая свою лошадь и вынимая портрет баронессы; он оборачивал его против закатывающегося солнца и едва не терял рассудок от силы того выражения, какое последние лучи солнца давали чертам портрета. «Теперь я все понимаю! Всею верю!.. Ах! Чей разум может устоять против столь чудного, непостижимого соединения совершенной красоты — с тем страшным выражением, или не знаю, чем-то ужасным, но только необходимым и без которого она не была бы красотою».

Эдуард готов был сойти с ума; он потерял сон, аппетит, лишился спокойствия, высох как скелет и дышал только тем, что день и ночь смотрел на портрет баронессы. Отец, с беспокойством замечая такую перемену в здоровье сына, сначала расспрашивал его с участием и отцовскою нежностью, убеждая открыться ему, как своему лучшему другу; но как в ответ на свои вопросы и убеждения он получал от Эдуарда одно только уверение, что он здоров и ничего не чувствует, причем приходил в сильное замешательство,



похожее на испуг,— то старый генерал решился оставить бесполезные вопросы и посмотреть самому, чем сын его занимается в своей комнате, особливо ночью? Люди сказали старику, что у молодого барина не гасится огонь до рассвета.

Чтоб лучше подстеречь своего сына, отец Эдуарда сказал в один вечер, что поедет ужинать в клуб и что пробудет там большую часть ночи. Он велел подать карету, поехал, — и через полчаса воротился. Он пошел прямо в спальню сына. Эдуард, погруженный в глубочайшую задумчивость, не слышал ни отворившейся двери, ни шагов отца своего. Он сидел за столом, облокотясь и поддерживая голову обеими руками; перед ним лежал портрет Мариолы. Отец, замечая, что сын не слышит его прихода, подошел тихонько к спиннику стула, на котором сидел Эдуард, взглянул на предмет его внимания и вдруг с восклицанием: «Силы небесные! Это дьявол!» — выхватил портрет из-под руки сына и в секунду изорвал его на тысячу кусков. Эдуард упал в обморок.

Год спустя молодой студент обнимал колена отца своего, орошая их слезами благодарности: «Велико ваше благодеяние, родитель! Вы вторично даровали мне жизнь! Более, дороже, нежели жизнь! Без вас она погасла бы в пожирающем огне геенны!.. Да, родитель мой, вы исторгли сына вашего из пропастей ада! Признательность до гроба и старание делать вам угодное будут одни только теперь занимать душу мою». Так говорил Эдуард в первый день своего выздоровления. Целый год был он как будто в помешательстве или иступлении, в которое повергло его лишение портрета Мариолы и не прежде, как пришед в разум, почувствовал он всю цену решимости отца своего, уничтожившего навсегда гибельное изображение.

Однако ж впечатление, сделанное страшною и вместе восхитительною красотою лица баронессы-цыганки, осталось навсегда в душе молодого человека. Он никогда уже не был истинно весел, никогда никого не любил, сделался холоден к друзьям и по целым часам просиживал один в своей комнате, задумчиво глядя косматую голову старого

Мограби. На просьбы и убеждения отца, чтоб он женился и, избрав род службы, жил бы, как живут все благомыслящие люди, исполняя свои обязанности к отечеству и семейству, — он отвечал с тяжелым вздохом: «Все будет, дражайший родитель! Все будет в свое время; но дайте еще отдохнуть сердцу моему! Ах, вы не знаете, какие глубокие раны остались в нем! Образ ужасный и вместе незабвенный исторгнут из сердца; но место, где он был, горит огнем адским, нестерпимым и причиняет мне боль столь лютую, столь невыразимо-лютую, что никакие слова не могут передать того, что я от нее чувствую!» Отец, со слезами на глазах, безмолвно благословлял сына и только пред иконою Спасителя изливал скорбь свою и умолял Промысел облегчить страдания несчастного.

Впоследствии Эдуард занимал почетную должность в месте своей родины и, исполняя обязанности своего звания, как деятельный гражданин и ревностный сын отечества, был уважаем всеми сословиями. Но тщетно лучшие дома в городе хотели породниться с ним; на все предложения, делаемые ему то прямо, то стороною, он отвечал, что, решась посвятить всю свою жизнь на службу своему краю и принадлежать пользам его без развлечения, нераздельно, — не заключит никогда брачных уз, что в этом случае решение его непременно.

Достигнув средних лет жизни своей, Эдуард имел пригорьное схоронить своего Мограби, который на диво всем жил до тридцати лет. Почувствовав приближающуюся смерть, он приполз к ногам Эдуарда, смотрел ему в глаза, лизал руки и усиливался подняться на передние лапы, чтоб положить свою голову к нему на колени. Тронутый Эдуард помог ему исполнить это последнее желание, и верная собака умерла, положив лапы и прижавшись головою на колених своего господина.

Рейнгоф писал к нему очень часто, уведомлял, что живет счастливо, что у него много семьи мелкой, то есть детей, — что он любит свою Марию все так же, как и прежде; что к его удивлению и вместе восторгу милая баронесса не старится. Что ее нельзя отличить от старшей дочери, нас-

ледовавшей всю красоту матери. В конце всякого письма барон приписывал: «Как бы я желал видеть тебя, мой милый Эдуард! Не вздумаешь ли когда посетить нашу гористую Богемию? Ведь ты, кажется, находил ее когда-то очаровательною; неужели воспоминание не влечет тебя в долину, к очарованному кругу? Приезжай, друг! Мария, состарившись, отменила свою решимость не видеть других мужчин, кроме меня. Приезжай, пожалуйста». Приписки эти крепко щемили сердце Эдуардово. Богемия рисовалась пред ним обетованного странною, он засыпал и просыпался с мыслию о горах ее, покрытых лесом, ручьях, оврагах, о своей молодости в то время, когда проходил чрез все эти восхитительные места, — о тогдашней чистоте своих чувств, непорочности помыслов! После переходил к встрече с бароном, вспоминал долину, кусты, где прятался от мнимых чертей, круг с душистыми травами, болезнь своего Мограби, приезд Рейнгофа, портрет Марии; — вспоминал все это, вздыхал и думал: «Хотел бы я в самом деле взглянуть на все это и снова пожить в былом!» Красота баронессы уже не казалась ему подаренною ей сатаною и носящею на себе отпечаток физиономии подарившего. Припоминая себе черты портрета, он видел только, что они были необычайно и резко выразительны; что синие белки прекраснейших черных глаз и необычайная смуглота дивного, впрочем, лица давали ему то неизъяснимое очарование, которому так же трудно было противиться, как и объяснить себе, в чем именно состоит оно. Все эти мечты и воспоминания оканчивались одною, главною мыслию, от которой однако ж Эдуарда всегда бросало в жар, — мыслию, что старшая дочь Рейнгофа должна теперь иметь девятнадцать лет; что она живой портрет матери, что невежливо будет оставить усиленные просьбы барона без внимания и что не было бы, кажется, странно, если б он съездил повидаться с ним. Правда, что когда эта мысль слишком уже овладевала им, то он невольно взглядывал в зеркало, как будто спрашивая его, можно ль ему осуществить свою мечту? Вежливое стекло не показывало ни седых волос, кой-где проглядывавших, ни маленьких морщин, чуть приметных: оно отражало в себе

только благородные черты довольно еще красивого и свежего лица. Эдуард, успокоенный таким докладом своего зеркала, не сомневался, что природа сделала для него это исключение для того, чтоб он мог ехать в Богемию.

Впрочем, всему этому было великим камнем преткновения его собственное, торжественное отречение от супружества; но еще большим препятствием было бы несогласие отца: дочь цыганки и с чертами портрета, который он принял за изображение дьявола! Есть ли какое правдоподобие, чтоб он согласился назвать подлинник своею дочерью!

Так прошло два года. Эдуарду минуло сорок семь лет; но письма барона и приглашения продолжались постоянно, и мечты роились под черепом, покрытым волосами с проседью. В начале третьего года отец Эдуарда отошел на вечный покой; с месяц сын оплакивал его, ни разу не вздумав ни о Богемии, ни о старшей дочери Рейнгофа; даже письма барона оставались нераспечатанными; но по окончании шестимесячного траура Эдуард оставил службу и для рассеяния поехал путешествовать. К концу этого ж самого года во всех обществах, во всех собраниях только и говорили о непостоянстве человеческих предположений; особенно старые дамы города К\*\*\*, в котором Эдуард так положительно отвергал всякое предположение о супружестве. Говорили насмешливо: «Тогда ему было рано, теперь самая пора! Около пятидесяти лет... это настоящий возраст любви! Ха, ха, ха! Бедный глупец!.. Правду говорят, что седина в голове... да на ком он там женился?» — «Ну, на ком? Уж доживши до старости, надобно уметь хорошо выбирать! Женился на цыганке, красивой как сатана».

«Видно, богата?» — «Мало этого, дочь барона». — «О!.. Но от чего ж цыганка?» — «По матери». — «Вот что! Дьявольский вкус у этих мущин! — Так было и в мое время; будь как колпичек бела — и не поглядят; когда ж появится какая черномазая, с глазами, что так вот и жгут, все кинутся за нею и начнут ухаживать, услуживать, ахать, вздыхать, и пусть бы одни молодые для этой редкости сходили с ума, так нет, старики еще и их перещеголяют: на них, как

видно, сильнее действует этот род красоты, нежели на молодых, потому что те погрустят, повздыхают да тем и кончится, а эти так нет, по тех пор не ототстанут, пока не женятся на своем сокровище арабском». — «Видно, так и с нашим Эдуардом! Двадцать лет смотрел равнодушно на прекраснейших девиц нашего края, а вот цыганка в несколько дней покорила его! Нечего делать, так тому и быть! А жаль, он и в сорок семь лет был жених завидный!»

Так толковали более месяца на родине Эдуарда. Не только в самом К\*\*\*, но и в других местах, где были близко его поместья, или где случалось ему бывать проездом и сделать знакомство, везде говорили: «Как это безрассудно жениться не в своем краю, да еще и Бог знает на ком!» Но точно ль это было так? Все эти нарекания и пересуды имели ль основательную причину? Эдуард уехал, — это правда; правда и то, что он поехал в Богемию и приехал прямо к барону; но женился ли он на его дочери? Была ль она изображением своей матери, как писал Рейнгоф? Сделал ли вид ее то впечатление на сердце Эдуарда, какое произвел назад тому двадцать два года портрет ее матери? И неужели забыли, что эта последняя не старилась! Что лицо ее, глаза и черты остались точно такими, как были при выходе ее из черной пещеры? И если к этому обстоятельству прибавить, что ангел-хранитель Эдуарда — отец его — не существует более, что голос предостерегательной любви отцовской замолк навеки; что если теперь Эдуард сидит напротив очаровательной баронессы-цыганки, не нарисованной, и, трепеща от восторга, чувствует в глубине сердца своего и рай и ад, и жизнь и смерть от невыносимого огня, невыразимого чувства, горящего, блестящего, говорящего в дивных глазах Мариолы! Что если все это с ним делается, то уже некому подойти, как когда-то, к заспиннику его кресла и сказать потихоньку: «Беги, несчастный! Спасайся, пока есть время!» Если взять в соображение возможность подобного случая, то пересуды и нарекания на неравную женитьбу Эдуарда могут еще быть чистою напраслиною. Впрочем, года через три разговоры об этом предмете почти совсем прекратились. Ближайшие родственники Эдуар-

да, доставя местному начальству верные доказательства о его смерти, вступили во владение всего его имущества. Поговаривали, правда, кой-где в уголках потихоньку, и то, крестясь и со страхом оглядываясь по сторонам, что будто бы смерть его была ужасна, сверхъестественна, что в последнюю минуту он явственно услышал вой Мограби и умер, проклиная Рейнгофа и его подарок — портрет Мариолы.



*Приложение*

**В. Белинский**

**ЯРЧУК  
СОБАКА-ДУХОВИДЕЦ**

*Ярчук собака-духовидец. Сочин. Александрова (Дуровой). В двух частях. С.-Петербург. 1840. В тип. Императорской Российской академии. В 12-ю д. л. В 1-й части — 149; во II-й — 161 стр.*

Г-н Александров, видно, решился дарить нам каждый месяц по большой повести. Доброе дело! а то, право, нечего читать. На этот раз г. Александров вводит своих читателей в мир фантастического, мир сколько обаятельный, столько и опасный — истинный подводный камень для всякого таланта, даже для всякого немецкого поэта, если он не Гофман. Правы ли мы — судите сами. Дело вот в чем.

В конце XVII столетия, не знаем, где именно, только не в России, человек пять студентов решились погулять за городом. Беспреданно представлявшие им то там, то здесь кладбища навели на них уныние и возбудили охоту рассказывать друг другу страшные истории. Эдуард начал рассказывать историю своей собаки Мограби. Этот Мограби — ярчук, то есть собака-духовидец, — качество, свойственное всякой черной собаке, мать которой вся черная и родилась тоже от черной собаки, и так до восьми включительно: девятая непременно — ярчук. Мограби хотели убить служители, но Эдуард выпросил ему жизнь у своего отца, еще бывши ребенком. Скоро Мограби навел ужас на весь дом несколькими доказательствами своей страшной способности видеть духов. Однажды к ним приехал богемский барон, бледный молодой человек с угасшими глазами. Мограби обнаружил фантастический ужас от его присутствия, а барон, узнав способности этой собаки, упал в обморок, — и больше его не видели. Ставши студентом, Эдуард бродил с своим Мограби по Богемии и однажды ночью заплутался в диком лесу. Мограби обнаружил признаки духовидения и тащил его за платье в сторону, противную той, куда он направлялся. Вдруг он встречает барона Рейнгофа, который, пригласив его к себе в замок, тотчас же удаляется. Они знакомятся, и барон признается Эдуарду, что он влюблен в дьявола, который явился ему в долине его замка, в полночь,



во время полнолуния, в виде женщины, с черными, как смоль, волосами и синими белками глаз, окруженной толпою дьяволов с длинными руками и железными когтями; что он давно подозревает, будто этот дьявол невидимо следит за ним, и что ужас, обнаруживаемый в его присутствии Мограби, совершенно удостоверил его в сей ужасной истине. К этому присовокупил он, что еще с детства был влюблен в женщину с черными волосами и синими белками глаз, увидев дома ее портрет, и, в заключение, требовал у Эдуарда помощи, чтоб отделаться от адского призрака. Для этого он просил его сходить в заколдованную долину в полночь полнолуния, с Мограби, чтобы убедиться, — явление духов было истинно или это призрак его расстроенного воображения. Эдуард насильно притащил с собою Мограби, надев на него намордник, и в самую полночь действительно увидел чертей. Мограби лишился чувств; только сильно пахучими ароматическими травами Эдуард привел его в чувство и, проклиная барона, уехал, не повидавшись с ним, а Мограби с тех пор начал чахнуть.

Когда Эдуард кончил таким образом свой рассказ, вдруг увидел едущего к ним барона Рейнгофа, но уже не бледного, а цветущего здоровьем, и за ним — Мограби, тоже здорового и скачущего повыше леса стоячего, пониже облака ходячего, тогда как, за минуту назад, он едва ползал. Барон присоединяется к честной компании и, узнав о предмете разговора, начинает доканчивать свою историю, из которой читатель узнаёт, что в заколдованной долине чертей не бывало, а являлось в полнолуние двенадцать старых цыганок, чтоб собирать травы, только в этом месте растущие; из этих трав они составляли сильный яд, которым если помазать темя, то человек мгновенно лишился ума, — и еще такое снадобье, от малейшей дозы которого в человеке исчезал всякий недуг, способности его утончались, веку прибавлялось по малой мере вдвое. Проклятые цыгане жили неподалеку в овраге и там варили свои дьявольские снадобья, которыми производили огромный торг, наживая горы золота. У них была девушка-сиротка, из цыганок же, с черными волосами и синими белками глаз, которую они на-

сильно приставили к адской лаборатории. Барон, увидев в первый раз чертей, влюбился в Мариолу, ибо узнал в ней свой идеал. Когда Эдуард ушел с Мограби, барон сделался болен от мысли, что вовлек другого в несчастье и погубил чудесную собаку. В припадке бешенства, бросился он в лес и прыгнул в пропасть оврага. Если кто открывал убежище цыган, то они натирали ему голову ядом, чтобы лишить ума: это они сделали и с бароном; но Мариола предварительно натерла его голову благотворным снадобьем. Он освободил ее из подземелья и женился на ней, а старых цыганок с цыганом, захватив посредством солдат, предал суду. Все это у автора длинно, растянуто, многословно; события представляют собою какую-то путаницу разных невероятностей, лишенных всякой занимательности.

Но этим еще не все кончилось. Барон, изволите видеть, нашед свой идеал с черными волосами и синими белками глаз, утопал в блаженстве разделенной любви и предложил Эдуарду познакомить его с своею дьяволоподобною женою; но когда Эдуард приехал в дом, где они остановились, то увидел, что их и след простыл. Ему подали письмо от барона, в котором он уведомляет, что жена его решительно не хочет, чтоб, кроме его, кто-нибудь из мужчин видел ее. В письме вложен был портрет дьявольской красавицы. Эдуард до того влюбился в этот портрет, что сделался болен и стал с ума сходить; но отец, застав его вечером за портретом, вырвал его из рук и уничтожил, чем и способствовал его выздоровлению. Прошло с тех пор много времени. Барон зовет в письмах своих Эдуарда к себе в гости, говоря, что его жена уже согласна показывать себя другим, что она несколько не стареется и что ее трудно отличить от старшей дочери. Эдуарду и хотелось было в гости к барону, ради его дочки, да он знал, что отец не позволит ему жениться. Но вот дражайший родитель Эдуарда умер; Эдуарду стукнуло сорок семь лет; он уже и не боится отца, да боится преступить клятву век не жениться, которую дал себе. Наконец не вытерпел — поехал и женился. Все знакомые осуждали его за этот брак, особливо переспелые девы. Выписываем последние строки этой повести: «Поговари-

вали кой-где в уголках потихоньку, и то крестясь и со страхом оглядываясь по сторонам, что будто бы смерть его была ужасна, сверхъестественна, что в последнюю минуту он явственно услышал вой Мограби и умер, проклиная Рейнгофа и его подарок — портрет Мариолы».

Мы не без намерения так подробно изложили содержание этой повести. Мы хотели приобрести полное право спросить наших читателей: понимают ли они хоть что-нибудь в этой груде нескладных небылиц? По всему видно, что автор хотел написать *фантастическую* повесть; но, во-первых, фантастическое отнюдь не то же самое, что нелепое; а во-вторых, фантастическое требует не только таланта, но и еще таланта фантастически настроенного, и притом огромного таланта. Таким был гениальный Гофман. В его рассказах, по-видимому диких, странных, нелепых, видна глубочайшая разумность. В своих элементарных духах поэтически олицетворял он таинственные силы природы; в своих добрых и злых гениях, чудаках и волшебниках поэтически олицетворял он стороны жизни, светлые и темные ощущения, желания и стремления, невидимо живущие в недрах человеческой природы. Если угодно, мы беремся показать и доказать глубоко разумное значение каждой черты в любой фантастической повести Гофмана. Но Гофман был один, и доселе природа никому еще не позволяла безнаказанно тянуться в Гофманы. Тик — немецкий писатель с большим талантом; но прочтите его фантастическую повесть, известную на русском языке под названием «Чары любви», — и вы увидите, что, кроме хорошего рассказа, все в этой повести — вздор, возмущающий душу, болезненная галиматья. Но в «Ярчуке» и того не видно: это просто скучный, утомительный рассказ о ничем. С тех пор, как вы узнаете, что в заколдованной долине являлись цыгане, а не черти, и что Мограби заболел от насыпанного на кустах и траве ядовитого порошка, а вылечился потом от маленькой дозы благотворной мази, данной ему бароном, — Мограби из *ярчука*, то есть *собаки-духовидца*, становится простою собакою, и все его духовидство делается пустою вставкою в сказку, и без того нескладную. Что же касается до любви

Эдуарда к портрету Мариолы, потом до его женитьбы на ее дочери и, наконец, до слухов о его страшной смерти, то это просто пустяки, которые не стоят, чтобы тратить на них слова. Изложение достойно содержания: ни лиц, ни образов; все действующие лица — и идеальная цыганка Мариола, и старая колдунья — говорят тем же языком, как и сам барон Рейнгоф и его мать, именно языком плохих романов прошлого века.

И вот наша современная литература! В куче книг видите вы одну с именем автора, которого первые сочинения обнаружили замечательное дарование, с жадностью хватаетесь за нее, — и что же? прочитываете две-три страницы и бросаете... И к чему эти набегі на Богемию, эти претензии на изображение фантастического мира? Пишите, господа, о том, что вокруг вас, что можно брать, не ходя далеко. Дело не в содержании, а в таланте. Гоголь и в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем умел найти богатое содержание... Ничего нет тяжелее обманутого ожидания, ничего нет тяжелее, как перелистывать груды книг.

И все затем, чтобы сказать,  
Что их не надобно читать!..

## Комментарии

Литературный путь ярчуков — загадочных собак-вещунов, способных распознавать ведьм и видеть демонов — растянулся на многие десятилетия XIX-го и первые годы XX-го века и был тесно связан с «гоголевской» волной этнографической, а точнее «малороссийской» прозы. Вместе с тем, украинским *ярчукам*, как и русским *двоеглазкам*, посвящено сравнительно мало отдельных произведений, за исключением позднего готического повести Н. Дуровой «Ярчук собака-духовидец» (1840) и нескольких рассказов; упоминаний больше.

Первым, видимо, ввел ярчука в литературу предшественник Гоголя О. Сомов в «Киевских ведьмах» (1833):

«— Все это так, — подхватила первая, — только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. Все говорят — наше место свято! — будто она ведьма.

— Слыхала и я такие слухи, кумушка, — заметила вторая. — Сосед Панчоха сам однажды видел своими глазами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и отправилась, видно, на шабаш...

— Да мало ли чего можно о ней рассказать! — перебила ее первая. — Вот у Петра Дзюбенка извела она корову, у Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была ярчук и узнавала ведьму по духу»\*.

У Т. Шевченко в «Подземелье» («Великий льох», 1845) ярчук выступает также как змеелов («Побіжить наш ярчук / В ірій їсти гадюк»); те же свойства приданы ярчуку и в вошедшем в антологию рассказе А. Вадзинской «Бровко». Заметим, что и в «Бровко», и в сказке Р. Чмихало «Ярчук» ярчук практически лишен мистических качеств: это главным образом искусная и бесстрашная охотничья собака и прежде всего волкодав.

---

\* Автор снабдил этот фрагмент и примечанием: «Ярчук — собака, родившаяся с шестью пальцами и, по малороссийскому поверью, имеющая природный дар узнавать ведьм во духу, даже кусать их».

О. Стороженко, автор рассказа «Ярчук», вспоминает о ярчуке и в рассказе «Влюбленный черт»:

«— Вот, — говорит черт, — и слобода, где живет Одарка: вот же, гляди, и ее хата, окружена вишневым садочком. Иди ж теперь к ней, переднююешь, а вечером, как солнышко сядет, то и я к вам приду. Я бы и сейчас, — говорит, — с тобой пошел, да днем небезопасно нашему брату ходить в слободу: вдруг на ярчука наткнешься да и петухи кукарекают, чтоб они сдохли!»

Пес Разбой, четвероногий друг маленького героя повести Г. Мачтета «Белая панна» (1889), видится мальчику ярчуком: «Если они <страхи> и были, то, конечно, отступали все дальше и дальше в глубь вместе с мраком, потому что на мне был крест, а Разбой был “ярчук”\*, которого боится и волк, и нечистая сила».

Ярчуки вновь оживают в фантастике 1970-х, а затем и 1990-х годов. Вполне очевидна «ярчуковская» генеалогия собакообразного голована-визионера Щекна из повести А. и Б. Стругацких «Жук в муравейнике» (1979) и собак-духовидцев из романа О. Дивова «Мастер собак» (1997), развернутого позднее в трилогию «След зомби».

Появляются ярчуки и в современной литературе. В рассказе «самиздатовского» автора Д. Кононенко «Вовкулака» («Гончие святого Юрия»)\*\* фигурирует забавный лже-ярчук:

«Средство оказалось небольшой рыжей дворняжкой с закрученным хвостом.

— Это ищейка? — урядник видел, что такое мелкое создание с волком не управится.

— Ярчук, гончая Святого Юрия.

Урядник молча взял дворняжку на поводок.

---

\* В журнальной публикации повести, с подзаголовком «Из детских воспоминаний неудавшегося поэта» (Киевская старина. 1889. № 1-2), стояло *марчук*, в книжном, с подзаголовком «Поэма в прозе» (Мачтет Г. Силуэты: (Новые повести и рассказы). Т. 2. М., 1893) — *ярчук*, но в обоих случаях автор сохранил примечание: «Собака, рожденная в марте. Народное поверье». Ср. этимологические изыскания А. Потебни (с. 7).

\*\* [http://samlib.ru/c/chitajushaja\\_p\\_k/ukrwerwolf.shtml](http://samlib.ru/c/chitajushaja_p_k/ukrwerwolf.shtml).

Оборотня искать следовало так: на кого ярчук залает, тот и режет скот по ночам. М-ский уверял, что это самый верный способ.

Вечером селяне поглядывали на начальство с собакой, но молчали. Собака тоже молчала, в третий раз обходя дворы, а урядник уже начинал считать себя круглым дураком.

Из-за хаты вышла полосатая кошка тетки Явдохи и немедленно раздулась вдвое при виде собаки. Ярчук спрятался за урядником и гавкнул тоненьким голосочком».

Перу молодого украинского писателя и поэта В. Худенко, уроженца и жителя села Карабутово под Конотопом, принадлежит весьма эффектная миниатюра «Ярчук» (2009):

«Холодная зимняя ночь укрыла хутор.

Вечером еще ничего было, а теперь поднялась вьюга и понесла вниз в долину сутробы с колхозного поля и окутала ими всю Нехаевку, и даже садики ее опрятных не видно стало, ни домов, ни дороги из хутора на Роменскую трассу, лишь тополя над ней стояли худыми тенями и цеплялись за них далекие звезды.

И единственная улочка хуторка над водохранилищем, ивами обнесенным, спала, и ивы спали, вмерзшие ветвями в лед; а там, подо льдом — щуки, карпы, окуни — все уснуло, и хутор уснул, и лишь гудело, гудело, гудело...

И несло оврагами и балками в ночь далеко-далеко, до самого Октябрьского села или Дубовязовки мертвыми зимою колхозными полями и лесополосами вдоль них, и осушенным болотом, и одинокими рощами; нагнал декабрь сон и сам спал.

А все же не всех одолел.

Почти на краю Нехаевки мерцал огонек — светилось у Бондарей в хате.

Мать и дочь жили одиноко, парень еще у них был, но в армию недавно забрали, и пока управились с хозяйством, ночь настала, да еще и корова тельная — ночью или, может, завтра телят ждать.

Старый Бондарь два года назад умер от рака легких — он в шахте работал на Донбассе, прежде чем сюда перебрался — надышался.

Остались они втроем, тут и Олегу в армию, а Юля школу заканчивала.

Как-то держались пока что.

Мать вышла в сарай на корову глянуть, а Юля из-под одеяла тут же — шмыг! и ручку старой «Весны» крутанула, сбросила на пол тряпку с рисунком Останкинской телебашни — замигал экран. В доме у них убого и сквозняк гуляет, девушка в мамин свитер закуталась, а все равно холодно, тряхнула кудрями, вздрогнула.

— Где же? Где? — шепчет. — Ну ты, железяка! — стукнула ладонью по коробке. — Нет?

— Что ты, доченька?

Эта мама пришла с улицы, Юля и не услышала, когда. Стоит в обтрепанной фуфайке у двери, постарела-то как.

— Думала, мам... — поникла Юля, — покажут этот Афганистан.

Мать немного помолчала, потом вздохнула еле слышно, а еще потом:

— Поздно, Юля, завтра включишь.

— Но, мама, — выпрямилась Юля, — два месяца писем нет, а то часто писал. Я думаю... — опять почему-то поникла. — Вот вспомни, уже скоро Новый Год, а у нас... И елки нет... Раньше Олег принесет, поставит... Как папы не стало, так и Олег.

Мать продолжала молчать, а метель била в окна.

— Иди, доченька, спать, — сказала наконец. — Сломался небось, видишь же... — уныло кивнула в сторону телевизора. — Иди.

Юля опустила глаза, прошла к кровати, окинула еще раз бездумным взглядом заплесневелую, почти пустую комнату.

— Ну, а теленок есть? — спросила у мамы.

— Нет, нет, — покачала головой. — Зато, — едва заметно улыбнулась, — Динга там принесла.

— Правда? — обрадовалась Юля и тут же нырнула в мамин свитер, который до сих пор держала в руках, после к куртке потянулась.

— Ну, а щенков сколько? — допытывалась. — А на цвет? На цвет какие? Вот я гляну. Много, а? Она же как бочонок была.

— Да нет, — тихо ответила мама. — Один.

— Один?

— Угу.

— Песик?

— Угу. Ярчук.

— Как это?

Юля вытаращила глаза.

— Идем, посмотришь, — ответила мать.



Вышли в мороз и в ночь, в холодный декабрь, в забытый хутор. Динги в будке не было — стояла рядом и дрожала на морозе.

— Чего это она, мам? — спросила Юля. — К маленькому не идет?

— Боится.

— Чего?

— Ярчука. Иди, иди сюда, мой маленький, цу-цу, — мать наклонилась к будке и достала оттуда темный лохматый комочек.

— На, смотри.

Юля взяла в руки и приподняла, рассматривая. А щенок, между тем, был не слепой.

Глянул на девушку исподлобья грустными глазами и, чуть зевнув, блеснул в декабрьскую ночь волчьими клыками».

---

#### А. Потебня. Этимологические заметки

Цитата из Плиния Старшего приведена в соответствии с тойбнеровским изданием 1909 г. Пер. И. Шабаги.

#### Р. Чмихало. Ярчук

Впервые: *Оповідання Р. Ф. Чмихала. Зібрав Володимир Лесевич (Етнографічний збірник: Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Т. XIV). Львов, 1904.* Пер. М. Фоменко.

Записанный В. Лесевичем текст принадлежит сказочнику и поведствователю Р. Ф. Чмихало (ок. 1829 — ?), жителю дер. Денисовка Полтавской губ.; свыше 70 его сказок, легенд и анекдотов составили указанный выше сборник.

Д. Михайлов. Ярчук

Впервые: *Журнал-копейка* (СПб.). 1910. № 101, декабрь. Публикуется по первоизданию. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам.

Возможно, «Д. Михайлов» — один из псевдонимов писателя и журналиста М. М. Асса (1874-1941), публиковавшегося до революции в многочисленных тонких иллюстрированных журналах Петербурга под псевдонимами «М. Михайлов», «Лев Максим», «Михаил Раскатов» (под последним опубликовал цикл романов о благородном разбойнике Антоне Кречете).

А. Вадзинская. Бровко

Публикуется по изд.: Вадзинская А. *Мой друг Дунай: Рассказ из жизни лягавой собаки*. Бровко. М.: изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1916. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Издательство благодарит А. Степанова за предоставленный скан издания.

А. Вадзинская (?— после 1928?) — детская писательница; до революции в изд. И. Д. Сытина выходили ее познавательные рассказы для детей; публиковалась также в *Женском обозрении*, *Путеводном огоньке*, *Для наших детей* и т.д. Приведенный рассказ впервые вышел отдельной книжкой в 1903 г.

И. Ремизова. Бесогон

Впервые: *Рижский альманах* (Рига). 2015. № 6 (11).

И. Ремизова — поэт, филолог. Работает на кафедре русской филологии Молдавского государственного ун-та (Кишинев). Публиковалась в литературных журн. и альманахах Молдовы, России, Украины, Латвии, Франции, Германии. Автор кн. стихов *Серебряное зеркало* (2000), *Прикосновения* (2003), *Неловкий ангел* (2010) и др.

Публикуется по изд.: *Стороженко А. Рассказы из крестьянского быта малороссиян*. СПб: В тип. Н. Греча, 1858. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам.

Олекса (Алексей) Петрович Стороженко (1805-1874) — украинский писатель, этнограф, драматург, следователь-криминалист. Выпускник Петербургского кадетского корпуса, много лет прослужил офицером в кавалерии (участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 гг. и польской кампании), затем состоял при киевском генерал-губернаторе Д. Бибикове, служил чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел, в 1860-х гг. — при генерал-губернаторе Северо-Западного края М. Муравьеве. В 1868 г. вышел в отставку, последние годы жизни провел в подаренной правительством усадьбе близ Бреста, занимая должности брестского уездного предводителя дворянства и председателя съезда мировых судей. Автор написанных на русском и украинском языках романов, повестей и рассказов, среди которых выделяются исторические, этнографические (с сильным фантастическим уклоном) и юмористические сочинения.

Н. Дурова. Ярчук собака-духовидец

Впервые: *Ярчук: Собака-духовидец. В 2 ч. / Соч. Александрова (Дуровой)*. СПб.: Тип. Императорской Российской академии, 1840. Публикуется по изд.: *Фантастические повести*. Ижевск: Удмуртия, 1991.

Биография писательницы Н. А. Дуровой (1783-1866), автора знаменитых «Записок кавалерист-девицы» и первой в России женщины-офицера, широко известна. Повесть «Ярчук собака-духовидец» принадлежит к ряду изданных ею в 1840 г. фантастических повестей с запутанным сюжетом («Клад», «Угол»), холодно встреченных критикой и в том числе ранее восторгавшимся Дуровой В. Белинским (см. его рецензию в приложении). Любопытна у Дуровой трактовка ярчука: у простолюды (дворни) он отнюдь не считается редкостным и ценным созданием, пригодным для борьбы с чертями и ведьмами; напротив, благодаря своей близости к

потусторонним и демоническим силам Мограби видится «адским отродьем», приносит «беду» и подлежит истреблению. Как указывает Е. Приказчикова, «имя собаки, скорее всего, было заимствовано Дуровой из “Истории мага Мограби” французского писателя XVIII в. Ж. Казота, где Мограби — страшный чародей, слуга Дьявола»<sup>\*</sup>.

В. Белинский. Ярчук собака-духовидец

Впервые: *Отечественные записки*. 1840. Т. XII, № 10.

---

На фронтисписе — фрагмент рис. П. Зыха.

---

<sup>\*</sup> Приказчикова Е. Е. Мифология мистических собак и повесть Н. А. Дуровой «Ярчук — собака-духовидец» // Дергачевские чтения — 2016. Русская словесность: диалог культурно-национальных традиций: материалы XII Всероссийской научной конференции ... Екатеринбург, 2017.

## Оглавление

### I

[Свод этнографических и прочих сведений о ярчуках]	7
---	---

### II

<i>Р. Чмихайло. Ярчук</i>	22
<i>Д. Михайлов. Ярчук</i>	27
<i>А. Вадзинская. Бровко</i>	31
<i>И. Ремизова. Бесогон</i>	39
<i>О. Стороженко. Ярчук</i>	41
<i>Н. Дурова. Ярчук собака-духовидец</i>	53
Приложение	
<i>В. Белинский. Ярчук собака-духовидец</i>	204
Комментарии	210

## POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.